

АЛТАЙ

16

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

16

1960



АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Барнаул 1960

ПОДРУГИ

Мы публикуем главы из романа Сергея Залыгина «Горными дорогами». Действие романа происходит в наши дни в Горном Алтае.

Герои его — научные работники профессор Вершенков, его помощник Михаил Михайлович Лопарев, которого в шутку называют Михом, гидролог Рязанцев, зоолог Лев Реутский.

Это — старшее поколение представителей науки. Но в романе большое место занимает и молодежь — студенты-практиканты Вершенков-младший (Андрей), Рита Плюнская и Онежка Петушкова.

В отрывке представлены те главы романа, которые посвящены этим молодым людям.

Маленькой, не по-детски изящной девочке — любимице матери, отца, всех окружающих ее взрослых, — эти взрослые казались таинственно-счастливыми людьми.

Они составляли иной мир. Мир взрослых можно было видеть на каждом шагу, можно было ему подражать, любоваться им, изображать его в играх, можно было даже войти в него и поверить, что ты останешься в нем навсегда.

На самом же деле — это только казалось так. Взрослые разговаривали с девочкой ласково, весело, иногда — как с равной, но все это до тех пор, пока им так хотелось. По первой же своей прихоти они отсылали ее прочь, говоря, что она — ребенок.

И девочка оставалась совсем одна, одна среди множества людей, потому что сверстницы и сверстники давно уже возненавидели ее за ее взрослость. Она не плакала, она презирала всех детей, а ее упреки и слезы обращены были к взрослым. Но им нельзя было даже пожаловаться — так были они жестоки.

И чем больше стремилась она попасть в мир взрослых, тем больше она хотела совершить это одна, войти к взрослым без их помощи и разрешения, войти, вопреки их желанию, с чувством превосходства над ними.

Просыпаясь утром в своей кровати, она говорила:

— Какова погода? Снова — ненастье, снова — антициклон! В таком случае, я надеваю темное платье, а гулять выйду в плаще. — И верила при этом, что выросла за ночь, но каждый день ее неизменно разочаровывал, ранил ее.

Свое страстное желание она не облекала еще в слова. Зная множество фраз, которыми говорили между собой взрослые, она ни слова не находила о самой себе, о своих чувствах.

У нее не было еще ни мыслей, ни рассуждений о своих желаниях, она не умела рассуждать к тому времени, как желание стать взрослой охватило ее.

Но если бы она смогла обдумать все, что с нею происходит, к чему она стремится, обдумать и выразить словами, это прозвучало бы, вероятно, так: «Покорять!»

Она хотела в мир взрослых не только войти, но и покорить его.

Ее то и дело хвалили, удивлялись ей — ее большим черным, выразительным глазам, ее звенящему, четкому дикторскому голосу, ее поступкам и фразам, удивлялись всему в ней, но столько же, сколько раз ей удивлялись, хвалили и ласкали, ее тяжело оскорбляли, снова и снова отсылая обратно к детям.

Одна только безропотная покорность взрослых людей перед нею могла бы эти бесконечные оскорбления загладить.

Конечно, было бы счастьем для нее, для всей ее судьбы, если бы в детстве она никого так и не покорила бы, если бы ее маленькое сердечко сначала само покорило бы какому-нибудь вихрастому, непутевому парнишке из третьего или четвертого «А» или «Б» класса.

Но так не случилось, случилось иначе.

Шестнадцать лет назад в день Первого мая, она участвовала в детском утреннике. Юные артисты танцевали, декламировали, пели, выступления сопровождалась бурей оваций. Не каждой артистической звезде удавалось в жизни снискать такое же неподдельное признание зрителей, каким награждали здесь певцов, декламаторов, танцоров.

И была среди юных артистов Маргаритка — она выглядела из-за декораций, дрожала от страха, слезы катились у нее по щекам.

Руководительница придерживала ее за плечо:

— Ну, ничего! Ничего милая. Ты же — самая старшая в этом танце, тебе нельзя волноваться!

А может быть, именно потому, что Маргаритка так боялась, зрители так поверили ей, поверили, будто над головой у нее вьется злой ястреб. И когда, дрожа от испуга, взмахивая ручон-

ками, она исполнила коротенький танец и позвала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!», а другие девочки, совсем еще малютки, в желтых платицах и красных туфельках, сбежались к ней на зов, окружили ее тесно-тесно, — зрители восторженно ее приветствовали.

И она не смогла уйти со сцены. Снова, снова танцевала, стогоняла прочь воображаемого ястреба, страшась его и в то же время против него восставая. Она торжествовала: ей кричали из зала, ей улыбались, для нее одной смеялись и радовались.

Каждое лицо, которое она видела в рядах, излучало разноцветные круги — тоже для нее, и восторг приходил к ней таким сильным, каким совсем недавно был страх, и еще сильнее.

В ярко-желтом свете электрических ламп она как будто таила, это блаженством было, она стала ощущать сильный, полнующий аромат света, так что спустя уже много лет, была убеждена, будто существует «желтый запах», головокружительно-сильный, дурманящий.

И ястреба она стала видеть тогда — хищного, быстрого, и все-таки отступающего перед нею, и ручки у нее стали уже не ручонками, а крылышками.

Ночь после этого она не спала. Лежала с открытыми глазами в своей кроватке, а с нею повторялось и повторялось все сначала.

Тогда впервые ее настроения, ее чувства вызвали вопрос: что это такое, что с ней происходит? Как оно называется? Но названия всему этому она опять не могла дать, лежала в темноте и шептала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!» Чувствовала, как доверчиво и робко прижимаются к ее ногам крохотные девочки в желтых платицах...

Если бы тогда она сумела найти слова, она сказала бы этими словами: «Сегодня я покорила всех взрослых!» — «Как? Каким образом? Почему?» — могла бы она спросить себя и тогда самой себе ответила бы: «Потому что я этого хотела. Страстно хотела и желала! Я вся была одним только желанием!»

Она не рассуждала таким образом, не обладая еще логикой вопросов к самой себе и ответов на эти вопросы, но убеждение в том, что если страстно желаешь, желаешь до страдания, то рано или поздно желание это сбудется, — такое убеждение, такую радость своей победы она пережила сполна.

Лишь годы спустя она назвала это словами, сказав себе: «Буду покорять. Буду подчинять себе других, ничего другого я так не желаю, не из-за чего так не живу, как из-за этого желания!»

Ведь в самом деле: за годы детства, покуда в ней созрела способность мыслить, в ее существовании ничто так не было подготовлено для мышления, как эта страсть, а самым сильным и

ярким переживанием было все то же «цып-цып-цып», желтый свет и желтый запах.

Она училась хорошо, хотя многое из того, что она учила, ее не интересовало совершенно: нужно было отвечать хорошо, чтобы завоевать признание учителей.

Отец, инженер-строитель, всегда очень занятый, неряшливый, и мать, полная, очень вздорная красавица, не чаяли в ней души и почти всегда были между собой в ссоре, а она ссорила их между собой еще больше.

Ей было и стыдно перед ними до слез, и она уливалась своим чувством превосходства над бедными взрослыми — их так легко было столкнуть между собой!

Классе в седьмом ее полюбил мальчуган — рыженький, веснушчатый, с тихими синими глазами. Он появлялся в школьной ограде, перелезая через забор — так она велела.

Потом она приказала ему прыгать с этого забора, и он прыгал и вывихнул ногу.

Она горько плакала, казнилась, в воображении обливая слезами веснушки своего героя, но когда герой вернулся в школу, — снова велела ему прыгать.

Он заплакал, а у нее в тот же миг возникло к нему чувство презрения, даже ненависти.

Позже эта потребность подчинять никому не приносила столько несчастья, как ей самой. Она томилась, изнывала.

Поступив в горный институт — там были почти одни мальчишки, — она хотела их покорять. Но когда в студенческом общеджитии гремели песни, в разгар веселья вдруг тускнела, сникала вся. Грусть на нее нападала отчаянная.

Над кем-то ей нужно было проявить свое превосходство, и чтобы это было очевидно для всех, чтобы кто-то при всех не спускал с нее глаз, чтобы кто-то, если уединялся с ней от других, так обязательно для того, чтобы изливать ей свою душу.

Достаточно было, чтобы ничего этого не было — и она впадала в отчаяние.

С возрастом она хорошела, обаяние ее, которое более всего жило в глазах — черных, то ласковых, то сердитых, даже жестоких, — тоже зрело, становилось чувственнее, но не увереннее. Теперь казалось ей часто, будто детское ее обаяние обладало какими-то сильными свойствами, незаметно утерянными. Главное — его не нужно было скрывать в детстве ни от кого, теперь же у него появился враг. Этим врагом были «все».

Впервые она увидела этого врага в том же горном институте, когда ее «проработали».

Ребята, из которых многие еще вчера млели перед нею с глаза на глаз, теперь выступали, и каждый начинал свою речь со слов: «Мы все...» И они говорили, что Маргарита — способная девушка («мы все в этом убедились еще на первом кур-

се»), что она — красивая («все это скажут, никто не будет спорить»), что она — эгоистка («все это поняли»), что она — убежала из колхоза, с уборочной («всех это возмутило»).

В школе так не бывало. Там все привыкли к тому, что она не как все. Здесь же она возненавидела весь курс, который «прорабатывал» ее на комсомольском собрании. Она не хотела подчиняться никому, а всем — тем более, это ее особенно унижало. Она не понимала: если она способная, умная, красивая — не как все и в отличие от всех, — почему она должна быть, как все? Ведь ум, красота, еще что-то, присутствие чего она всегда и во сне, и наяву чувствовала в себе, — для чего-то ей были даны? Для чего? Чтобы отличаться от всех, не быть, как все!

И в то же время, помимо воли, наперекор своей воле, она тянулась ко всем, эти все нужны были ей, как воздух, она задыхалась без них.

Ведь покорять кого-то одного ей нужно было даже не для себя, а для всех, чтобы все это видели. Не было всех, никто этого не видел — и не было у нее больше страсти, она сникала, блекла.

А зачем ей нужны были ее способности и ее красота, ее голос, если не для того, чтобы все это любовались?

Наконец, «все» вдруг поразили ее своей необычайной, еще не знакомой ей прежде силой, какой-то только «всем» принадлежавшей правдой — незримой, но очевидной и могущественной. А ее всегда непостижимо влекло к себе все сильное.

Никто из ребят не сказал бы ей один на один того, что говорил на собрании, при всех, никто! Каждый побоялся бы это сделать — от каждого из них она могла бы в любой момент попросту уйти, встать и уйти, и не молча, а сначала произнеся обдуманно-оскорбительные для человека слова.

Если бы собрание вдруг разошлось по аудиториям, она могла бы перед каждым в отдельности совершенно искренне зарыдать или выразить полное свое безразличие к его словам. Никто не избежал бы с ней самой обыкновенной ссоры. Перед «всеми» она не могла ничего — сидела и слушала, что про нее говорят, не могла поссориться со всеми.

Впервые она увидела разницу между «одним» и «всеми». Раньше «все» были для нее множеством «одних» — только и всего, и потому, что она никогда не уступала «одному», не чувствуя у одного превосходства над собой. Она не понимала уступок «всем». Но это было раньше...

Теперь она столько же ненавидела всех, кто ее прорабатывал, сколько преклонялась пред их могуществом.

Как в детстве, когда она и ненавидела взрослых и обоготворяла их.

Все это она не пережила — забросила занятия, и ее исключили из горного института. Через тетушку устроилась на био-

логический факультет университета. На факультете были одни девушки, а от ребят она сбежала, увидев их всех вместе.

В экспедиции она была впервые.

Холодные ночи в палатке, переходы, ненастья и другие тяготы походной жизни, если не привлекали ее, то и не пугали — она была не из трусливых. Боялась другого: оказаться с людьми, среди которых совсем некого будет покорять и совсем некому будет удивляться тому, как она покоряет.

Был в экспедиции человек, покорность которого она могла бы продемонстрировать всем в любую минуту. Но ей-то было не легче, даже труднее: именно этому человеку она очень хотела показать, как она покоряет других.

Первые дни принесли ей прямо-таки счастье — Онежка с одного взгляда стала ей подчиняться.

Потом Онежка ее разочаровала. Когда отряд жил в палатках на Семинском перевале и было ужасное ненастье, Рита заметила, что так же легко, так же охотно и непринужденно, как ей, Онежка подчинялась всем, для каждого готова была что-то сделать, на всех смотрела с обожанием.

Рита обиделась, искала и не находила случая подчинить Онежку только себе одной, отобрать ее у всех.

И тут как раз выпал такой случай. Однажды лежали они в палатке перед сном, каждая в своем спальном мешке, и Рита услышала вдруг — Онежка о чем-то вздыхает, тяжело вздыхает...

Время в палатке перед сном — иногда каких-нибудь минут десять, а иногда, если не очень устали за день, целые часы — было единственным временем бесед между ними, а тут Онежка так откровенно вздыхала.

— О ком ты?

— Так... Ни о ком... — шепотом ответила Онежка. Вдохнула снова.

— Ну-ну! Все так говорят: «Ни о ком!» Скажи?

— Правда — ни о ком...

— Ну, не о себе же самой, в самом-то деле?

— Ага...

— Что — «ага»? Скажи.

— О себе.

— Почему?

— Колет...

— Что? Где?

— Вот тут. — Онежка взяла Ритину руку к себе в спальный мешок. — Вот тут где-то... Желудок... Да?

Рита была и разочарована, и даже рассержена, и засмеяться ей хотелось над Онежкой, и сказать хотелось ей что-нибудь такое, что детям говорят: «Бо-бо? Ничего, спи... До утра заживет. Бай-бай!».

Но тут она вдруг поняла, что ей нужно ответить, и ответила:

— Нет... Не желудок. Это у тебя — женское!

Ничего ровным счетом Рита не понимала ни в этих, ни в других болезнях — высокая, тоненькая, даже хрупкая, она переболела в раннем детстве, а теперь была совершенно здоровой девушкой, болезни представлялись ей чем-то отвлеченным, таким же, как, например, «старость».

Однако она произнесла свой диагноз с необыкновенным значением.

Дальше разговор смолк, они уснули обе — сначала Рита, потом и Онежка, совсем притихшая, не дышавшая.

А на другой день Онежка старалась быть все время ближе к подруге.

Еще бы! Одна только Рита знала ее тайну. И откуда она знала ее одна, — к ней одной Онежка могла быть привязана.

Рита тоже стала нежнее к Онежке, душевное покровительство зазвучало в ее словах, когда она обращалась к этой маленькой, такой серьезной и такой обыкновенной девушке.

Чем дальше, тем больше убеждалась Рита — своей обыкновенностью, простотой, глазами, лицом — Онежка выражала «всех».

В горном институте, в 234-й академической группе, где она когда-то училась, кроме нее, было еще три девушки, и теперь ей казалось, будто все три были очень похожи чем-то на Онежку, а Онежка — на них. Всех трех, ничем неприметных — ни красотой, ни голосом, ни способностями — ребята, когда прорабатывали Риту Плонскую, ставили ей в пример: какие они простые, какие обыкновенные, хорошие и товарищеские.

Теперь, взглядываясь в Онежку, Рита угадывала: чем же все-таки те три девушки могли привлечь к себе симпатии всех ребят 234-й группы? Но потому, что она ничего не увидела в Онежке, а чем дальше, тем определеннее чувствовала, что и не увидит, ее желание Онежку покорить, подчинить себе все возрастало. Покорить и все. А тогда — не все ли равно будет, какая она?

Это ощущение, что Онежка и «все» имеют что-то общее, может быть, даже она и есть «все», простиралось еще дальше.

Ей казалось, что если бы она совсем Онежку покорила, то подружилась бы с ней, как ни с кем другим в жизни. А потом она доверилась бы Онежке, встала бы с ней на равную ногу, и это было бы ее союзом со «всеми».

Давно-давно жила в Рите тайная мечта, жило такое желание — изменить самой себе, стать хотя бы ненадолго такой же, как «все», испытать, что это значит.

Самой себе она решалась признаться в этом желании лишь в те редкие минуты, которые накапливались в ней за дни и недели каких-то неясных и тревожных раздумий о себе и об «всех». И всякий раз теперь, как такие минуты наступали, они были исполнены для нее необычайной нежностью к Онежке.

Она и не подозревала, что может обладать такой нежностью. Она мечтала, как, подружившись, будут они лежать в палатке тесно-тесно друг к другу, чувствовать тепло друг друга, и как будет она шептать: «Онежка, милая, самая милая на свете, я не могу, я не хочу быть такой, как все! И я не могу быть такой, какая есть!» И плакать будет... А потом долго еще — ночью, утром, на другой день — будет ощущать всю сладость отступничества перед самой собой. Один раз она это делает, одна Онежка будет об этом знать. А больше никто и нигде — ни дома, ни в горном институте, ни в университете.

Если нужно будет, она и сама перестанет об этом знать — забудет и все.

Проходили минуты нежности...

«Боже мой! — восклицала Рита про себя, — какие волосы у этой девчушки?! Какие жесткие! Какого грубого войлочного цвета. Нет и не может быть такой прически, которая придала бы им хоть какую-нибудь привлекательность. Что же со мной происходит, если я хочу дружбы этой девочки, хочу ее участия, хочу плакать перед ней?! Все, что когда-нибудь и хоть сколько-нибудь привлекало меня — все было чем-нибудь красиво, своеобразно, неповторимо, а здесь? Хотя бы ножки у нее были красивыми, хотя бы ножкам можно было позавидовать?»

Спустя же некоторое время она снова говорила себе:

«Должно быть, это хорошо, что Онежка такая обыкновенная. Должно быть, такая она и нужна мне!»

А Онежка?

Недавно она узнала названия некоторых растений — Юпарев ей сказал. Три из них почему-то неотступно звучали все время: «Истод, адонис, эдельвейс». Совершенно особенно они звучали, и ей необходимо было кому-то много-много раз их повторить, чтобы спросить потом: правда ли, что они звучат как-то особенно? «Истод, адонис, эдельвейс! Вы слышите ли? О чем это звучит? О чем и как? Сначала у меня был один мотив без слов. Теперь эти названия цветов появились! Зачем?»

И Онежка удивлялась себе и всячески себя упрекала, почему до сих пор она не может подружиться с Ритой, почему до сих пор ей некому рассказать о себе?

Всегда так легко, так просто сходилась она с людьми, что не замечала даже, как это происходит, не замечала, что обо всех, о ком она не знала ничего плохого, она всегда думала очень хорошо.

О Рите она ничего плохого не знала, но близости почему-то не было между ними. Жили в одной палатке — их всего две девушки было в экспедиции, — а подружиться не могли.

Искренность, искренность! Она — та же любовь, теми же неизвестными путями она приходит к нам и нас минует...

— Послушай, Онежка, — спросила как-то перед сном Рита, — тебе нравится Андюшка?

День они провели на делянках, собирали шишки, подсчитывали число всходов на полях и на затененных площадях. Устали. Устали, а не спалось что-то. Лежали в мешках, молча слушали ночную песню леса, доносившуюся с горных вершин, — спокойную, негромкую, вечную, — и, кажется, обе чувствовали, как приближается тот единственный момент, когда они вступят в этот торжественный напев со словами искреннего доверия друг к другу.

— Кто? — прошептала Онежка. — Кто? — Ей нужно было, чтобы Рита повторила свой вопрос.

И она повторила:

— Андрюшка? — Она могла сказать «Андрюша», а могла и «Андрюшка» сказать с самыми разными интонациями.

Онежка знала, что прежде чем сказать друг другу о себе, люди обязательно говорят сначала о ком-то третьем. Так всегда бывало и в школе-интернате, и в институте, где она училась, — кто-то третий был зеркалом, в котором двое других прежде разглядывали друг друга.

Тут третьим был Андрюша, студент из Иркутска, геоботаник, это просто и понятно, но как Рита произнесла слово «Андрюшка» — вот что привлекло ее внимание.

Для Риты тоже так было всегда при новых знакомствах, но только о ком-то третьем она говорила обязательно зло, с насмешкой, причем говорила как раз о человеке, который далеко не всегда того заслуживал. Это было началом ее доверия, ее принижением, ее жертвой новой дружбе. Она сама теплела от этой жертвы, а ей обязательно нужно было тепло откуда-то извне, чтобы затем обратить его в дружеское чувство.

Она обычно не замечала некрасивых людей, они не могли привлечь ее внимания, если... если только чего-то сильного не присутствовало в них.

В Андрюше сильное нельзя было не заметить: грудной грубый бас, неуклюжая, но стремительная походка, длинные руки с узловатыми кистями. Он ни с кем не спорил, вероятно, был уверен, что прав во всем, что делает. «Доктор медицины» Реутский — умница, красивый, кандидат биологических наук — много раз пытался с ним завести спор, — то ли о книгах, то ли о растениях, о чем угодно, — Андрюша всегда ему отвечал как-то лениво. На месте Реутского Рита даже обиделась бы. Ей самой Андрюша внушал чувство какой-то опасности. Еще она спрашивала себя, — что, если бы он учился в 234-й группе горного института, в которой ее прорабатывали?

Догадывалась: он сказал бы самые злые, самые невыносимые слова из всех, которые ей были сказаны там. Казалось иногда: угловая аудитория на третьем этаже горного института, ее «прорабатывают», а в довершение ко всему откуда-то с заднего ряда поднимается Андрей Вершенков: «Ребята! Мы все...» — обязательно сказал бы: «Мы все...» Он был из всех

свой парень для всех, со всеми — запросто; в нем все это безошибочно угадывалось с первого взгляда. Поэтому он и не мог начать иначе, как «Мы все... Мы все про все знаем...». А дальше — что-нибудь злее самого злого, что было тогда сказано.

И ей страшно было. Даже вообразить страшно. Правда, потом хотелось еще и еще этот страх испытывать. Как в детстве: боясь темноты, она все-таки тушила свет и заставляла себя сама сидеть в крошечной тьме.

И когда Рита повторила слово «Андрюшка», что-то прозвучало в ее голосе, что тотчас достигло слуха Онежки, заставило ее насторожиться.

Онежка спросила себя, — а кто ей больше всего нравится в экспедиции, и подумала, что, пожалуй, Андрюша. Прежде всего, с ним было очень просто, — не так, как с помощником профессора Вершенкова Рязанцевым, и тем более, не так, как с начальником лесного отряда Лопаревым, которого она почему-то не могла смущаться... С Андрюшей было очень легко в лесу — он работал, будто удовольствие доставлял и себе и другим.

Онежка даже подумала, что любит Андрюшу. Ей просто было об этом подумать, — она всех любила в экспедиции так, как дети любят взрослых, она была младше всех и все время это чувствовала, всегда обо всех заботилась, хлопотала.

Два дня в экспедиции пробыл профессор Вершенков, потом он уехал в отряд, который назывался «дуговым» и шел где-то далеко впереди, не по верхней, а по нижней границе леса, по долинам.

За два дня профессор столько произвел шума, столько дал указаний и распоряжений, что Онежка почувствовала себя оглушенной, радовалась, что она далека от этого человека, что с ним должны иметь дело Рязанцев и Лопарев, она же только издали его слушает.

И вдруг узнала, что Андрюша — сын профессора. Родной сын! Это ее поразило, так они были различны и таким надо было умным быть, чтобы спокойно, уважительно и в то же время чуть снисходительно с отцом разговаривать!

Когда отец очень шумел, Андрюша чуть-чуть Онежке улыбался. «Не обращай внимания. Он — пожилой, и от этого похож на мальчишку, а мы — молодые, будем совсем взрослыми...».

Когда он так улыбался, Онежка почему-то представляла себе жену профессора Вершенкова, Андрюшину мать. Только ее улыбка могла быть на лице сына.

Обо всем этом Рита и Онежка подумали, прежде чем Онежка ответила:

— Мне Андрюша нравится...

— А мне — нет!

— Почему?
— Не производит впечатления мужчины.
— Почему?
— Ну, дорогая моя, не знаю. Не производит и все! Может, потому, что возится со своими травками, как девчонка. Ботаника — не мужская специальность!

— Какое же впечатление он производит?

— Никакого.

— Так может быть?

— Как?

— Чтобы человек не производил впечатления?

— Чаще всего. В нашей экспедиции никто не производит на меня никакого впечатления! А иногда — первое впечатление интересное, а потом — разочарование. Очень часто так.

— Почему?

— Онежка, дорогая! Станный вопрос и все один и тот же — «почему?» Детский! Ты этот вопрос задавала самой себе?

— Какой?

— «Почему?»

Замолчали...

Рита почувствовала — она не владеет разговором и не овладевает Онежкой. Спросила:

— Так что же — я должна, по-твоему, у себя спрашивать: «Почему люди не производят на меня впечатления? Что со мной случилось?» По-твоему, значит, надо спрашивать у других, почему они не могут произвести впечатления? Милая, ты мало видела людей, а когда увидишь... Что ты увидишь? Все одинаковы, мало этого — все требуют, чтобы никто ничем не отличался, чтобы каждый был похож на всех! Чтобы человек не был особенным!

— Ты — особенная?..

— Может быть... Хотя бы тем, что хочу быть особенной... Разве этого нельзя хотеть?

Рита совсем не предполагала говорить в этот раз о себе, но так случилось, что заговорила. Она собиралась только вместе с Онежкой «проработать» Андриюшу и на этом с ней подружиться. О себе же — в другой раз. Не скоро. Когда дружба уже состоялась бы, когда Онежка стала бы ей покорна...

— А если ты особенная как раз тем, что ничего особенного не видишь в людях?

Необыкновенно чутко, едва лишь начинали звучать в чьем-то голосе первые, ещеничего не значащие нотки сомнения, недоверия — Рита всегда уже слышала их, как грохот, как гром.

А тут нельзя было ошибиться... И Рита не ответила, лежала, слушала Онежкины мысли, ощущала боль — мысли эти ее кололи...

А Онежка думала: почему такое чувство, будто кого-то нужно от Риты защищать? Себя?

Защищать надо было не себя, других, Андриюшу — прежде всего, и чувство становилось обязанностью.

Недавно, в ненастье, на Семинском перевале, она стала взрослой. Взрослость ее могла быть сочена днями, и эта младенческая взрослость тревожила желанием что-то делать, как-то поступать, как делают и как поступают взрослые, зрелые, умные люди. Случилось, что ей одной нужно защищать людей от плохого отношения к ним. Переспорить Риту она не могла. Единственно, что она могла, — отказать Рите в дружбе, потому что дружба с ней — это союз против всех.

Ах, как хотелось Онежке дружбы с Ритой — с красивой, певучей, умной, старшей, — ее всегда к ней тянуло, с первого дня их встречи, ни для кого она так охотно не делала столько услуг, как для нее! Не начинался бы этот разговор — и тогда оставалась бы небольшая, осторожная, но все-таки дружба между ними, понимание, а это так жаль было сейчас терять! Трудно будет остаться снова одной в экспедиции — среди людей, ради которых она отказалась от дружбы, снова остаться для всех самой младшей и ничем больше. Трудно будет по-прежнему оказывать всяческие услуги Рите, а она ведь обязательно будет их оказывать... А у кого она спросит: исход — адонис — эдельвейс — это в самом деле звучит так, как она слышит? До сих пор была молчаливая надежда, что она у кого-то об этом спросит, а теперь? Теперь будет молчание...

Оно уже началось. Много времени прошло, прежде чем Онежка спросила:

— Как же ты живешь с нами?

— С кем?

— Со всеми нами в экспедиции... С людьми...

— А что же я могу? Не жить?

Может быть, Онежке нужно было пожалеть Риту? Красивую, старшую — пожалеть? Даже этого не могла.

Онежка слушала, как не спит Рита. Рита слушала, как не спит Онежка. Шли минуты, секунды — каждая могла бы принести им дружбу и ни одна не приносила.

Рита долго не верила, что ти одна секунда так и не принесет ничего, слушала, как шумит ручей в камнях, как деревья шелестят над палаткой. Ждала... Не верила, что, задумав покорить, сама оказалась пораженной, искала сил, чтобы не плакать.

Зимой на окнах, тронутых морозом, или в конспектах каких-нибудь неинтересных лекций она то и дело выписывала: «Маргарита» — и пыталась угадать, что это значит? «Марго» и «Рита». Ей это нравилось: у всех — одно имя, у нее в одном — два, и каждое что-то обещает.

Дома смотрелась в зеркало. Глаза приводили ее в восхищение, и очертанием рта — тонкого, изящного — она оставалась

лась довольна, и брови придавали выражение стремительности всему лицу, стремления к чему-то... Наверно, — к счастью.

Все было красивым, и все-таки еще не самым необыкновенным. Хотя бы потому, что было видимым для всех. Самое же необыкновенное должно быть невидимым, и таким оно существовало в ней. И не зная, что же это такое — необыкновенное, чего нет ни у кого, в чем было ее счастье, из-за чего счастье обязательно придет к ней, — она верила в «это». Она «этому» радовалась, «этим» гордилась, и даже все, что было вокруг нее хорошо, и что было плохо, — все «этим» оценивала, «этим» ощущала.

Видела очень красивую женщину, очень красивую, и завидовала ей, а потом успокаивала себя: «Но у нее же нет — «этого»! Его нет ни у кого!»

Видела красивого мужчину или юношу, и между нею и этим человеком, потому что они оба были красивы, возникали как бы поэтические — полуслова, полувзгляды. Она думала: «Вот такой мог бы распознать ее «это» и тотчас влюбиться в нее!»

Когда ее обижали, было обиднее, чем другим: тот, кто обижал, не хотел заметить в ней присутствие «этого» и тем самым наносил ей еще одну душевную рану.

Толкал ее кто-нибудь в трамвае, так толчок нередко приходился прямо по «этому».

Обижала кого-нибудь она — совесть начинала ее тревожить, она успокаивала себя, «мне можно: у меня есть «это».

Сейчас, когда ей очень грустно было, грустно и обидно, что так внезапно закончился разговор с Онежкой, она снова обращалась к «этому».

И оно явилось, и сначала она пережила обиду еще острее, потому что «это» тоже было обижено, а потом — успокоилась, потому что «это» было выше обид, которые могла нанести маленькая, курносая, ничем не примечательная девчушка.

В конце-концов такая, какая она есть, — она обязательно покорит человека, а потом откроется ему так, как она хотела открыться Онежке.

В конце-концов, — никто ведь не видел ее поражения, она же, если захочет, завтра же покажет всем, как человек может быть ей подчинен, покорен ею.

И Рита уснула перед рассветом, думая о том, что она еще покажет себя, что все ее увидят.

А Онежка не спала в эту ночь, думая, что она так и не откроется никому и никто ее не увидит...

Жизнь в экспедиции шла своим собственным, присущим ей порядком.

Вершенков-старший делил свое время между двумя отрядами — луговым, что шел по нижней границе леса, и высокогорным, но почему-то всякий раз, как высокогорный отряд, закончив работу в одном месте, переезжал на другое, — он обязательно был с ним. Любил двигаться, перемещаться. Очень любил выбирать место стоянки.

Где-нибудь метров на двести-триста ниже верхней границы леса, на поляне, становился в позу, вытягивая руку в белой брезентовой рукавице, с огромной дубиной, и произносил:

— Здесь!

— Здесь будет город заложен! — вполголоса говорил Андрияша, оглядывался кругом, потягивал зачем-то носом воздух и определял: — Палатки — лицом сюда!

Четыре палатки разбивали в ряд, входом в ту сторону, куда показывал Андрияша.

Все было чужим кругом и незнакомым всего лишь час или два, не больше. А потом — каждый кустик, каждый камень вблизи палаток приобретал свое назначение.

Среди камней на берегу ручья появлялся один такой, с которого неизменно черпали воду; ниже по течению каждый выбирал себе камень, чтобы с него можно было удобно умываться, — чтобы он был почти вровень с ручьем, только чуть выше была на нем ложбинка для мыла и зубной щетки.

Деревья и кусты тоже быстро обретали свое назначение: на одном развешивали после стирки в ручье свои вещички девушки, на другом — мужчины, под ветвями старых больших лиственниц складывался рабочий инструмент: лопаты, пилы, топоры...

Разводили костер, располагались вокруг него один раз, и вот уже каждый знал свое место «за столом».

Начальник отряда называл лагерь станом. Это вызывало бурю протестов у Вершенкова-старшего.

— Долго ли еще я должен объяснять, — горячился Вершенков и вздымал кверху одну, а то и обе руки, — что стан — это нечто стационарное, постоянное. Стан предполагает наличие пусть небольшой, но постоянной избушки, землянки или хотя бы постоянных кольев для натягивания палаток. Нельзя, неправильно, ошибочно называть наш лагерь станом! Недопустимо! У нас кочующий лагерь, мы никогда не возвращаемся и не возвратимся на прежнее место второй раз, мы живем лагерем на одном месте не более шести-семи дней, и все это, вместе взятое, заставляет называть наш лагерь табором. Та-бор! Неужели непонятно? Поражаюсь!

— Правильно, правильно, — кивал головой невозмутимый Михмих. — Где остановились, там и стан. Точно!

Если Вершенков-старший был в отряде, он просыпался раньше всех и объявлял подъем, оглашая лес скрипучим, но

очень громким голосом. Завтракали и выходили на работу тоже по команде Вершенкова.

Вершенков утверждал, что весь личный состав экспедиции — полевые работники, поэтому выход на работу — это выход в поле.

Лопарев объявлял: «Выходим в лес!» Но иногда, если не было в отряде начальства, говорил: «В поле!»

Перерывы на обед тоже обозначались по-разному: Рязанцев так и говорил: «перерыв», Вершенков объявлял «шабаш», Лопарев — «перекур».

Эклиметром и рулеткой отряд разбивал две делянки сто на сто метров каждая — одну на верхней границе леса, другую — в самом лесу, метров на двести ниже, — а потом в течение нескольких дней на этих делянках проводилось полное обследование. Полученные данные потом сравнивались, и тогда возникала картина изменений, которые лес претерпевал на верхней своей границе.

Лопарев при этом больше всего обращал внимание на лиственницу: что с ней происходит, как она переносит суровые условия. Ползучий кедр обычно оказывался живучее, взбирался по склонам выше. Это было правилом, но иногда встречались исключения — кедр отступал раньше, а лиственница еще продолжала ползти вверх.

Лопарев тогда радовался.

В лесу Лопарев работал шумно, по-медвежьи, его издали было слышно: все вокруг него трещало и гудело. Стоило ему каким-нибудь деревом заинтересоваться, он его, не задумываясь, срубал — будь то трехсотлетний краж — все равно. Он всегда носил за поясом топор — тяжелый, остро-остро отточенный, топор этот никому больше ни на минуту не уступал.

Андрюша составлял неботаническое описание, собирал гербарий, работал тихо, сосредоточенно, никого не замечая, так, как если бы на всем Алтае он был совершенно один.

Реутский ставил капканы на мышей и палил по ним из всех четырех стволов двух своих великолепных ружей: «Зауэра» и «Тулки». Мыши были его главной добычей. Он так и говорил: «Вот добыл трех!» — и торжественно протягивал собеседнику руку, на которой находилось три сереньких трупика с тонкими и длинными, словно нити, хвостиками.

Потом он удалялся в лагерь и там под микроскопом рассматривал содержимое мышиных желудков — ему нужно было установить, что мыши едят, много ли они съедят семян деревьев и какой ущерб наносят лесу. Еще он палил по хищным птицам и тех тоже потрошил: много ли хищники уничтожают мышей? Одним словом, «доктор» Реутский был занят вопросом: кто, кого и в каком количестве ест.

Вершенков-старший описывал «общую географическую» обстановку. Он забирался на какую-нибудь вершину, усажи-

бался там поудобнее, клал на колени дневник, рядом с собою — бинокль, крупномасштабную карту и начинал:

«22 июля 1959 года. 9,15. Вершина в устье с правой стороны ручья Чирик, притока Усулы. Отметка 935,6. Видимость хорошая.»

На запад открывается долина реки Усулы, в нижней своей части покрытая смешанным лиственным-хвойным лесом с преобладанием последнего. Пойма реки выражена довольно четко, особенно по левому берегу, где заметны обнажения и оползневые явления. В целом долина яшикообразной формы, относительно прямая. Экспозиция склонов сильно скажется на характере не только растительности, но и на внешнем виде обнаженных горных пород. Южные склоны покрыты преимущественно травянистой растительностью, значительно облекшей и высохшей, а из кустарников преобладает карагана Комарова, выступы же гнейса и гранита повсюду несут следы эрозионной деятельности.

Наоборот, склоны северной экспозиции покрыты мхами, брусничником под покровом хвойных, преимущественно лиственницы.

На север видимость ограничивается одним из отрогов Курлякского хребта, на высоте около 2.500 м. уже покрытого отдельными снежными периодами, а выше — сплошной шалькой снегов...»

Писал свои дневники Вершенков-старший необычайно гладко, любил читать их кому-нибудь вслух, но от Рязанцева прятал.

Рязанцев измерял температуру воды в ручьях, относительную влажность воздуха и ручным буром брал почвенные пробы на влажность — изучал режим увлажнения лесных почв, глубину залегания и режим оттаивания подпочвенного мерзлотного слоя. Все это не требовало много времени — и он помогал еще Онежке и Рите. Втроем они определяли числа деревьев на делянке, их возраст, высоту и состояние, число ветвей на типичных экземплярах, число шишек и среднее число семян в шишке.

Вечера выдавались иногда очень приятные. Как только чувствовалось, что настал такой вечер, — затягивали песню. Вершенков рассказывал разные истории из своей жизни и первым начинал прыгать через костер. Была партия карманных шахмат, разыгрывался чемпионат отряда, лидировал Вершенков-старший и очень этим гордился.

Иногда приходило и грустное настроение, особенно если кто-нибудь прихварывал. Вершенков-старший обычно говорил в таких случаях:

— Болеть надо уметь. Каждый болеет, как умеет! — Но сам болеть не умел совершенно. Как только чувствовал недомогание, становился злым, всех ругал, больше всего —

Андрюшу, терял аппетит и без конца вспоминал, кто из знаменитых ученых в каком возрасте и от чего умер.

Чуть оправившись после недомогания — обязательно рассказывал, что он поехал на Алтай вопреки запретам врачей.

Это было сущей правдой: накануне отъезда экспедиции к Вершенкову на работу явилась совсем еще молоденькая женщина-врач и со слезами на глазах стала уговаривать его никуда не ездить. Вершенков отказался, врач призвала всех коллег в свидетели.

Теперь Вершенков этим свидетелям без конца объяснял, как было дело — что сказала врач, как он ей ответил: «Нет и нет! Мой долг — быть там!»

Онежка слушала Вершенкова-старшего, потом внимательно смотрела на Андрюшу и однажды сказала Рите:

— Вот как бывает — у такого сына и такой отец.

— Вот именно: у такого отца и такой сын! — ответила Рита.

Рите Вершенков-старший нравился. Видно было, что и ей он казался иногда смешным, а все-таки очень нравился, когда пускался в рассуждения обо всем на свете и о себе. Вершенков и Рязанцев то и дело между собой спорили — Рита всегда была на стороне Вершенкова. Говорила: «Он — мужчина!» Вершенковы отец и сын настолько были непохожи, что если кому-то нравился один — другой не мог нравиться. А Рита хотела невзлюбить Вершенкова-младшего.

Это Ритино желание — во что бы то ни стало самой невзлюбить Андрюшу и Онежку заставить так же сделать — после ночи, проведенной ими в палатке почти без сна, ощущалось Онежкой все время и чем дальше, тем больше. Онежка знала, что Рита не отступила, что рано или поздно снова придет бессонная ночь в палатке, снова между ними произойдет разговор об Андрюше.

Сможет ли тогда она снова, как и в первый раз, защитить Андрюшу? Не знала. Вдруг — уступит? Так хочется дружбы! Так хочется обо всем говорить с подругой, обо всем том, что даже для самой себя еще не мысли!

Вдруг — уступит? Так нужно спросить у Риты о своих болях. Рита одна здесь, в отряде, может сказать — что это такое? Откуда? Со всеми ли это бывает? Умирают от этого или не умирают? Ведь умереть именно сейчас, в нынешнее яркое лето — невозможно!

Умываясь из ручья, Онежка всякий раз подолгу рассматривала себя — руки, ноги, лицо — никак не могла представить, будто в ней может быть что-то больное и скрытое.

Уступит? Никогда еще Онежка не делала ничего такого, о чем заведомо ей было известно, что это — нехорошо. А если все же случится? Что она переживет, что почувствует? Все-все вокруг омрачено будет чем-то незнакомо-близким...

Но разве можно болеть одной? Без слова сочувствия, без того, чтобы кто-то понимал, что ты — болеешь?

Онежка уединялась, когда боли становились сильнее, ложилась на спину и сквозь кроны деревьев глядела в небо — лучшее средство, которое она знала... Небо успокаивало своей милобытной мудростью, тишиной... Ласковое, тихое, оно что-то внушало, предупреждало о чем-то, Онежке казалось, вот-вот она поймет — о чем.

И вот однажды все-таки решилась: возвращаясь в лагерь, хотела сказать, что нездорова, первому, кто ей встретится. Не жаловаться, не расспрашивать ни о чем, ничего не объяснять, просто нужно было, чтобы кто-нибудь услышал от нее эти слова: «Болит... Нездорова...» Ей казалось — легче и как-то проще станет сразу же.

Она заставила себя не угадывать, кто первым встретится. Угадывая, выбирая, она не выбрала бы для этого никого — пусть ей случай поможет.

Встретился Вершенков-старший.

Он стоял один между двумя невысокими кустиками и сосредоточенно рассматривал свою обнаженную до локтя руку.

— Константин Константинович! — проговорила Онежка, придерживая рукой сердце. — Знаете что... Вот что: у меня болит... Одним словом — я больна...

— Где? — вскрикнул Вершенков, взмахнув голой рукой. — Где болит? Что болит? — Длинное лицо его вытянулось еще больше. Он песь вопрошал.

— Желудок, кажется... — сказала Онежка почти шепотом. ася вздрогнув: ей было неудобно, что профессор Вершенков так встревожен ее жалобой.

— А-а-а! — протянул Вершенков и вдруг лицо его стало добрым, участливым: — Это пройдет. В два счета! Рита заболела — вот что случилось! Очень сильно. Понимаешь — Рита! И никого не хочет видеть, кроме тебя. Никого! Хорошо, что ты пораньше вернулась из леса. Беги скорее к ней, Скорее!

Только Онежка откинула полы палатки, как почувствовала на лице, на шее прикосновение горячих Ритиных рук. Рита лежала головой к выходу:

— Чтобы тебя увидеть скорее... Сядь! Вот тут — рядом. Еще ближе!

Пушистые щеки были у Риты, а глаза — еще больше, чем всегда.

В одно и то же мгновение Онежка испытала к подруге и жалость, будто к маленькому больному ребенку, и затрепетала перед ней, как перед взрослой женщиной, недостижимо-красивой, таинственной, которая еще красивее, еще таинственнее этого, что ей трудно, она — в жару.

Стемнело...

Несколько раз и палатку заглядывали то Рязанцев, то

Вершенков успокаивали Онежку, говорили, чтобы она не плакала — все обойдется хорошо, Рита скоро выздоровеет, признаков энцефалита у нее нет.

Рязанцев излагал свою теорию:

— По данным эпидемиологов, — говорил он, поглядывая из-под стекол очков, в которых трепетал огонек свечи, — по данным многих исследователей на Алтае, не более одного процента клещей являются носителями энцефалита. Значит, только каждый сотый укус может привести к заболеванию. Укусы клещей-самцов вообще безвредны, значит, шансы уменьшаются еще вдвое. Тяжелыми последствиями заболевание заканчивается в половине всех случаев. Значит — вероятность тяжелого исхода составляет всего лишь одну четырехсотую. Остается еще одно — внимательно осмотреть Риту.

На этот счет Вершенковым в отряде был введен твердый порядок — едва только люди возвращались с работы, он спрашивал каждого:

— Зудится где-нибудь?

— Константин Константинович, — нигде, ничего!

Вершенков вынимал тогда часы-секундомер и требовал:

— Стойте неподвижно одну минуту, слушайте себя: не свербит ли где-нибудь и не зудится ли?

Мало этого было Вершенкову — он отправлял мужчин вправо, девушек — влево и требовал, чтобы был произведен, как он говорил, «само- и взаимоосмотр»: не впился ли в кого-нибудь клещ.

Над этим требованием сначала смеялись. Михаил процедуре само- и взаимоосмотра дал почему-то прозвище «христосования».

Когда же заболела Рита, все были Вершенкову благодарны. Нынче Рита вернулась из леса рано, ее некому было осмотреть, и теперь, с опозданием, все решили, что Онежка должна это сделать.

Онежка дрожала. Боялась: вот сейчас обнаружит где-нибудь маленькую, чуть кровоточащую ранку, даже не ранку, а просто царапинку и в ней — клеща.

И эта ничтожная царапина будет явственным признаком несчастья. Жуткая догадка перестанет быть только догадкой, а все толковые, умные рассуждения Рязанцева о том, что это — не энцефалит, что не может быть — в одну секунду потеряют всякий смысл.

Рита дышала тяжело, горячая была с головы до кончиков пальцев на ногах, и глаза у нее становились будто все горячее, горячее, и казалось почему-то Онежке, что своими горячими глазами Рита светит. Освещает себя — свои руки, грудь, ноги, — чтобы Онежка лучше видела, чтобы Онежка каждую ничтожную царапинку, каждое пятнышко, каждую крапинку на ней заметила, не пропустила.

В палатке душно пахло лекарствами, воздух нагрелся, даже горячим был — Рита его как будто раскаляла собою. Яркий круг электрического света от фонарика быстро катался туда и сюда, освещая Риту, и Онежка казалась, что сейчас весь мир заключен здесь, в этой темной маленькой палатке, в которой даже выпрямиться и вздохнуть глубоко нельзя, а за пологом нет ничего — ни гор, ни людей.

Маговая, чуть смуглая была Рита, без единой царапинки, без пятнышка... Красивая была, будто в сказке.

Онежка вышла из палатки и сказала:

— Нет ничего. Комариного укуса нет...

— Я же говорил, — тотчас отозвался Вершенков-старший и подбросил хворостинку в костер.

Рязанцев спросил:

— Тщательно осмотрела?

А Реутский ничего не сказал, молча поднялся и пошел куда-то прочь от палаток, в темноту.

Вершенков-младший лежал на спине, глядел в небо и, не поворачивая головы, сказал:

— Нельзя же по каждому случаю паниковать. Правда, Онежка? Так и житья не будет.

Онежка с ним согласилась, ей как-то легче стало от этих слов, ей вообще было легко с ним соглашаться.

Онежка вернулась в палатку.

Риту теперь знобило. Все, что было теплого — одеяла, куртки, платки — Онежка на нее положила, а она просила что-нибудь ей рассказывать, сама же говорила и говорила, не давала вымолвить слова. Говорила все о том, какая Онежка добрая, ласковая, нежная, как она ждала ее с самого утра и как умерла бы через час, если бы не дождалась.

Онежка сначала хотела только слушать Риту, а верить ей — не хотела, потом стала верить. Растрогалась и где-то уже перед рассветом вдруг почувствовала, как она любит Риту, как нужна ее любовь и дружба, как нужна человеку любовь и дружба другого, очень красивого человека.

Попросила бы Рита сейчас умереть вместо нее — Онежка, не задумываясь, умерла бы. Слезы катились у Онежки, она не знала отчего: от Ритиной или от своей боли, режущей где-то в желудке, справа. Но ни за Риту, ни за себя уже не было страха, и ощущение, будто весь мир втиснулся в их палатку, — тоже прошло, слышала она и шум леса, и потрескивание костра, и плеск ручьев — их два было поблизости, они как раз около лагеря сливались вместе.

Самое страшное, самое жуткое миновало, только что прошло где-то неподалеку. Прошло... Для него все было безразличным: Ритина молодость, ее глаза, выразительность лица, пылавшего в жару, — все! Оно прошло и теперь каждую минуту уходило куда-то дальше, отделялось...

Оно было той самой одной четырехсотой, которую подсчитал Рязанцев.

А Рита ничего не поняла, ничего не заметила. Рите стало легче — это все, что она знала.

Онежка ждала — вот сейчас вернется обыкновенная жизнь. Как это случится?

В самом деле, хриловатый, встревоженный голос Реутского спросил:

— Маргарита, милая, ну, что с вами сейчас? Как с вами?

А Рита улыбнулась радостно и в то же время — презрительно, как она всегда умела, и ответила:

— Оставьте, пожалуйста, меня. Оставьте! Идите и спите.

«Оставьте», — она говорила, будто к ней кто-то приставал, прикасался, и не так уж ей было это неприятно.

Реутский замолчал, но тут спокойно, так деловито вдруг заговорил Лопарев:

— Что вы, в самом деле, доктор, беспокоитесь? За Риту? Ее клещи не кусали! За себя? Тем более. Вы пропахли пороховым дымом в баталиях с мышами, вас клещи не тронут. Они разбираются в людях...

Реутский не ответил, стало тихо, бречкали ручки — каждый на свой лад.

Теперь должна была снова заговорить Рита. О чем? О том, что больше всего ее все эти дни тревожило...

Рита молчала долго, потом приподнялась на локте, поцеловала Онежку в лоб:

— Милая, хорошая... Но ведь Андрюшка-то скверный. Грубый, неинтересный! Сознайся — ты напрасно упираешься, хочешь мне досадить? Ну?!

Трудно Онежке было ответить, что Андрюша — хороший. Трудно! Но она все равно ответила так. Ответила и замерла в испуге, что вот сейчас Рита заплачет, обидится, оттолкнет ее. Больная, беспомощная, умрет от обиды. Но тут Онежка не могла ей помочь ничем, не могла уступить! Не могла она сказать, что Андрюша — плохой, потому что назавтра ей было бы невыразимо стыдно встретиться с ним. И с самой собой. И с Ритой — тоже. Никого не захотелось бы ей видеть завтра.

Если сейчас, сию минуту, уступить — Рите и в самом деле сразу же и легко и даже совсем радостно станет. Но потом, когда-нибудь, ей от этого будет тоже стыдно. И грустно. А Онежка не хотела этого.

Если бы Рита умирала сейчас — Онежка могла бы с ней согласиться, но самое страшное — одна четырехсотая — минуло, им предстояло жить обeim, каждый день глядеть друг другу в глаза.

А Рита не понимала ничего этого, упорствовала:

— Его надо ненавидеть, — шептала она громко. — Возненавидеть! Ему нужно отомстить!

— За что?

— Он — не мужчина. Он убежал в ботанику, убежал под покровительство своего благородного отца от настоящего мужского дела! Он должен быть строителем, или горняком, или физиком, а он — ботаник. Он скрывается! Я себя-то презираю за то, что убежала из горного института, а он — здоровый, сильный — скрывается здесь... Трус! Мне стыдно даже за его отца.

— Разве ты не можешь понять, что все это неправда?

— А если бы он был там, в горном институте, я знаю, он прорабатывал бы меня, издевался бы надо мной больше всех. Он как раз такой, как все те! Ты еще очень молода, Онежка, и не знаешь, что такое жизнь, какой она бывает. Андрея защищаешь, а ведь ты — моя подруга, а он вовсе и не нуждается в твоей защите. Нисколько! Зато он издевается надо мной, над всем, что у меня есть, издевается без конца.

Онежка пыталась подругу уговорить:

— Рита, ты же умная. Ты — милая. Ну, зачем же тебе еще твои выдумки? Ты болеешь, а тебе мало — ты хочешь еще, больше болеть? Зачем тебе, такой красивой, твои выдумки?

— Ну, вот, ты сказала — «красивая»... А знаешь ли ты, что это такое? Как это не легко, а трудно? Как легко ранится? Как легко, каждый день, это ранит Андрей хотя бы тем, что смотрит на меня с презрением?

Трудно было Онежке, многое она пережила с той минуты, как вернулась из леса в надежде кому-нибудь пожаловаться на свою болезнь, но так, как сейчас, ей еще не было стыдно за себя и обидно.

«Красивая... А знаешь ли ты, что это такое?» Рита не спросила, она просто сказала, что Онежка не знает и никогда-никогда не узнает, что это такое. И Онежка ощутила сначала свои пухлые щеки, потом всю себя — небольшую, приземистую, неуклюжую, и снова свои узенькие, почти как у Андрюши, серые, даже бесцветные глаза.

Когда ей было и труднее, и страшнее — когда она почувствовала где-то здесь, рядом, совсем близко холодную «одну четырехсотую», или сейчас — она не знала.

А Рита ни тогда, ни сейчас снова совершенно ничего не заметила, она плакала по-детски, горько, от всей души.

Но одна капризная, больная девчонка в палатке еще могла быть, двух же капризных, больных, — быть не могло. Это стало бы совсем уже обидно-смешным, несерьезным, даже оскорбительным для всех людей, для всех женщин.

И Онежка заставила себя не быть капризной и не быть больной. Онежка сказала:

— Риточка, успокойся! Когда ты поправишься, все будет для тебя по-другому, по-хорошему. По очень хорошему. Мы будем с тобой дружить. Обо всем-обо всем будем говорить друг с другом. Я знаю...

Ничего этого Онежка не знала. Может быть, даже знала, что этого не будет. Но вот тут, сейчас, нужно было чуть-чуть обмануть ребенка. Погладить его по головке нежно-нежно и обмануть...

И ребенок обманулся, пролепетал сквозь слезы:

— Ну, разве ты не видишь, какой этот Андрюшка безобразный? Какие у него уши оттопыренные? Ему, наверно, очень идет быть пьяным!

— Вижу, вижу,— согласилась Онежка.— Только мало ли у кого уши тоже оттопыренные? — И вспомнила, какие оттопыренные уши у Лопарева — только Рита этого не замечает. Про себя же Онежка усмехнулась: «Вот как смешно вдруг оборачивается разговор, к чему сводится — к оттопыренным ушам!»

Перед тем, как уснуть, ребенок еще раз встрепенулся и спросил:

— А может быть, Андрюшка тебе нравится? В самом деле, может быть? Скажи? Не стесняйся. Тогда — все хорошо и в самом деле, я бы все простила тебе... И ему... И самой себе! Ну?

— Его не за что не любить! — сказала Онежка. — Не за что, и все...

Поняла Рита Онежку или не поняла? Поверила ей или не поверила? Она уснула...

А выздоровела так же неожиданно, как и заболела. На другой день вышла из палатки — бледная, похудевшая и, кажется, еще красивее, чем всегда, но посмотрела в зеркальце и себе не понравилась.

Скорчила гримасу. Подставила лицо солнцу, зажмурилась, потом подумала, что так ведь и кожа может потрескаться на носу. Одеда на нос бумажный колпачок.

Полежала так, но недолго: все-таки боялась, что нос облезет. А погреться ей хотелось. Она положила голову на колени и, сидя, повернулась к солнцу спиной, сказала ему:

— Ну, вот, — грей, грей сильнее! Ну!

...Жизнь в экспедиции опять пошла обычным, присущим ей порядком. Обыкновенная, все та же и все-таки — не та...

Онежка стала не той... Что это с ней происходило нынешним летом?

Она знала теперь, что она — сильная, умеет защищать людей, умеет побеждать свои собственные боли. Когда она не ощущала на себе пристального взгляда огромных Ритиных глаз, она сама себе казалась старше Риты. Удивлялась этому, а все-таки это ощущение ее не покидало.

С детства она знала лес, деревья, травы, а теперь она видела не просто травы, а растительные сообщества, в какой-то последовательности произраставшие на вершинах и склонах, открытых и под пологом леса.

И не просто она видела какую-то траву, например остроло-

дочник, а это было растение из семейства бобовых, многолетнее, с непарноперистыми очередными листьями и мотыльковым венчиком; и лиловый истод семейства истодовых с очередными листьями, о котором Вершенков говорил, что свое русское название он несет из глубокой древности, и что вообще ученым, изучающим древне-славянский язык, совершенно необходимо знать ботанику...

Истод, адонис, эдельвейс — эти названия цветов, которые словно на высокой и стройной ножке, держались на звонкой «д» — Онежка могла повторять про себя хоть тысячу раз. Шла по тропе — шаг, и произносила про себя «истод», другой — «адонис», еще один — «эдельвейс». — и так без конца.

Видела она камень, так это был не только камень, а гранит — глубинная зернистая порода, гранит, о происхождении которого все еще спорят ученые.

Входила в лес и могла увидеть очень много: и тиш, и ярусы, и бонитет леса, и число стволов на гектаре она тотчас прикидывала, и выход древесины в кубометрах.

Онежка всю свою жизнь училась, всегда была ученицей, но только теперь стала замечать, как научилась чему-то, что-то узнала.

Теперь ей перестало казаться, будто в лесном институте она учится по какой-то случайности, только потому, наверное, что родилась и выросла в леспромхозе.

Нет, это не случайно было, надо было ей родиться именно в леспромхозе, необходимо было слушать лекции в лесном институте — ни медиком в амбулатории, ни инженером на заводе она, наверное, не смогла бы быть — только лесником.

Такое к ней пришло убеждение.

Всю жизнь она любила музыку, но никогда музыке не училась, даже слушать ее не умела так, как другие слушают. У нее был, должно быть, неплохой слух и память была, — своим несильным голосом она в любое время правильно могла пропеть давным-давно слышанную мелодию, но ее всегда поражало: откуда люди знают, как угадывают, где в музыке грустное должно сменяться добрым, тихое — громким, медленное — быстрым? И как это получается, что, заслышав начало музыкальной фразы, уже догадываются о конце ее?

Теперь, прислушиваясь ко всем тем звукам, которые к ней приходили, к мотивам, которые она давным-давно знала, она вдруг стала открывать что-то главное в них, самое яркое, которое подчиняло себе все остальное.

Это оно — самое главное и самое яркое — чередовало грустное и доброе, тихое и громкое, медленное и быстрое. Оно создавало одно-единственное из множества разного, пестрого, рассыпанного.

Началось же это еще на Семинском хребте, когда к ней впервые пришел ей одной известный мотив.

А как она стала слышать людей?

Удивительно, как она их слышала теперь.

Рита о чем и как бы ни говорила — Онежке слышались в ее голосе детские нотки. Когда же Рита долго молчала, она становилась похожей на взрослую женщину.

Онежка, как и прежде, подчинялась Рите, без конца оказывала ей мелкие услуги — в палатке прибирала, хлопотала за нее у костра.

Только теперь она подчинялась ей, как подчиняются ребенку: проще выполнить желание ребенка, чем объяснять ему, что и как он должен сделать сам.

«Доктор» Реутский всегда страдает оттого, что ему не удается поговорить вволю. В очках, с бородкой, вежливый и такой видный, он, как только заспорит между собой Вершенков и Рязанцев, уже тут как тут: «Позвольте, позвольте! Я должен заметить...» А профессор Вершенков уже машет руками, ничего не дает заметить: «Минутку. Одну минутку!» Но эту свою минутку «доктору» ждать бесполезно: если уж Вершенков перебил собеседника — не скоро он снова позволит открыть ему рот.

Андрюша — тот больше молчит, поглядывает как-то сбоку на отца и никогда с ним не спорит, а объясняет Онежке глазами: «Что с ним станешь делать, с моим батькой?» И это очень похоже, как сама Онежка иногда поглядывает на Риту. Очень похоже!

Онежке кажется, будто ее и Андрюшу объединяет какой-то союз, какая-то им одним доступная мудрость молодых. Только и в этом союзе Онежка все-таки хоть немного, но выше, значительнее: она защищала Андрюшу перед Ритой, а он даже не знает, что был у нее под защитой. Так никогда и не узнает!

У каждого Онежка слышит теперь его собственные слова, которыми человек говорит не столько с другим человеком, сколько с самим собой.

У Риты это так звучит: «П-а-а-думаешь!» Скажет, вздохнет, блеснет глазами и, значит, все — думать она уже больше ни о чем не хочет.

У Андрюши, наоборот, есть такое слово: «Интер-р-ресно!» После этого ему тоже можно уже ни о чем не говорить, он ничего не услышит, ничего не ответит — он задумался.

«Доктор» твердит: «Позвольте, позвольте!» — но все равно никто ничего ему не позволяет, а он — не обижается, только волнуется от нетерпения поспорить.

Больше всех таких слов — для себя — у Лопарева.

Когда Лопареву что-нибудь или кто-нибудь нравится, он говорит: «Сила!» Однажды он это про Онежку сказал. Потерялся в лагере топор, сколько его ни искали — не могли найти, а Онежки, которая все потери всегда обнаруживала, в это время не было — она ходила в ближайший поселок за моло-

ком. Поспорили, и Лопарев сказал, что Онежка, как только вернется, найдет топор в пять минут. Она вернулась и не в пять, а в одну минуту нашла. На дереве. Вспомнила, как накануне, при закате солнца, блеснуло топорщице — словно мрамор.

Наверное, в дерево его всадил Вершенков-старший. Он любил демонстрировать свою ловкость, топоры и ножи бросал так, что они втыкались в деревья, и когда никого не было в лагере, — практиковался наедине в этом искусстве.

Если что Лопареву не нравилось, а ему многое не нравилось, сердитый был Михмих, — он говорил: «Отравал». «Не дорога — отравал», «Погода — отравал», «Не академик — одна отравал!» А когда он хотел что-нибудь опровергнуть, представить в серьезном виде, то говорил «цирк». «Какая это книга? Сплошной цирк!»

У Вершенкова-старшего слов было великое множество на все случаи, но когда ему приходилось трудно в спорах с Лопаревым, а еще чаще — с Рязанцевым, он заявлял: «Нечего мне разъяснять. Я сам себе профессор!»

У Рязанцева не было таких слов — только для себя. Сколько Онежка ни слушала — не услышала. Должно быть, Рязанцев с самим собой и для себя разговаривал молча, а когда говорил с кем-нибудь, — очень внимательно слушал собеседника.

Чем они отличались друг от друга больше всего — Вершенков-отец и Рязанцев: один, когда спорил, доказывал, что он прав, что он знает то, о чем спорит, что он — вообще очень много знает; другой — в споре узнавал.

Это ощущение непрерывного узнавания Онежка и сама теперь переживала. Поэтому угадать такое ощущение в другом ей было просто.

Обычно говорят: «сын пошел в отца», или — «дочь — вылитая мать», и это было понятно.

Но тут, казалось, было наоборот.

Онежка и Андрюша без слов знали, что в них существует самое главное и самое яркое — их молодость, та самая мудрость молодости, за которую некого благодарить, даже природе — и ту нельзя, потому что она попросту обязана была эту мудрость им безвозмездно отпустить, если только хотела продолжать разумный род человеческий.

И они пользовались этой своей мудростью, никого и никогда за нее не благодарили, никому не чувствовали себя обязанными. Им просто было виднее — кто прав, а кто неправ, что хорошо, а что плохо, взрослым же оставалось быть похожими на них: Рязанцеву — на Онежку, Вершенкову-старшему — на Риту.

Едва только начинали Рязанцев и Вершенков-старший спорить, Андрюше и Онежке уже было ясно, кто из них говорит правду, а дальше спор сводился к тому самому, что Лопарев называл «цирком».

«Цирк» в большинстве случаев был интересным, даже — очень. Сколько было разных слов, сколько неожиданных фактов из географии, истории, биологии, из жизни, какие маневры здесь применялись друг против друга!

Они многое знали, взрослые, пожилые люди, но знания, должно быть, еще не ум, или — не весь ум, а умнее был тот из них, кто, независимо от возраста, сквозь все свои знания больше принимал к молодости, лучше ее видел и понимал, больше говорил ее ясными словами.

Рязанцев был моложе Вершенкова-отца вовсе не по возрасту, а потому, что он довольно часто угадывал Онежкины и Андрушиины мысли, потому, что нередко и сам понимал, где кончается спор и начинается «цирк». Ему тоже любопытен был «цирк» — иногда он хотел что-нибудь узнать от Вершенкова-отца, или о нем что-то узнать, или свои собственные мысли высказать вслух для молодых. Доказывать же Вершенкову, он ничего не доказывал — понимал, что это — совершенно бесполезное занятие.

Вершенков-отец был самым старшим, самым старым в отряде еще и потому, что со всеми своими знаниями он больше всех был похож на ребенка: его ни в чем невозможно было убедить, любые доводы становились перед ним бесильными.

Бывало и так, что «цирк» вдруг становился захватывающим зрелищем, врываясь в те мысли, которые Онежка ощущала как раз в это время своими, может быть, еще ни разу ею не высказанными, но уже своими.

Как-то возвращались из леса в лагерь вместе, даже не дедочкой, а рядом, почти все шли по широкой проезжей тропе. Не очень устали, не очень топились, поглядывали на сизые в вечернем солнце и крутые склоны, и вдруг Вершенков-старший провозгласил:

— Самокритика? Не признаю! — До сих пор они с Рязанцевым о чем-то беседовали мирно, но вот, видно, подвернулось Вершенкову какое-то слово, от которого он сразу захотел спорить. — Не признаю! Покаяние на миру — высшая степень эгоизма. Человек совершает что-то против людей, потом у этих же людей ищет защиты против самого себя? Если человек морально здоров, — ему самокритика противопоказана. Критика — это понятно. Сам критикую и — увы! — от критики других не огражден!

Рязанцев снял очки, поглядел куда-то сквозь стекла. Тихо, спокойно, гораздо более по-стариковски, чем Вершенков-старший, начал издали:

— Почему любим природу! Видим в ней закономерности. Любим в ней не хаос, а гармонию. Творчески любим — открываем, преобразуем. Так... Человек — не исключение, тоже природа. Его любовь к себе — тоже любовь к гармонии, кото-

рая в нем, в желании ею овладеть, преобразить, совершенствовать ее. В себе и в людях в целом.

— Ну-ну-ну! Философия, дорогой мой!

— Не возражаю.

— А против того, что вы далеки от жизни, что рассуждаете «вообще», что человек для вас — тоже «вообще» — возражаю?

Рязанцев только чуть усмехнулся, поглядел на Онежку и Андрюшу так, чтобы они его взгляда не заметили. Они сделали вид, что не заметили и все трое стали ждать, что еще скажет Вершенков-старший. Он сказал:

— Это — ваше личное восприятие. Оно вас не обязывает ни к кому обращаться с этой самой самокритикой. Кто вас заставляет, как вы говорите, овладевать собою?

— Вы...

— Я? Увольте! Моралистом не бывал. Никогда! — возмутился Вершенков. — Еще раз — увольте!

— Ну, вот, еще Андрюша диктует мне законы овладения самим собой. И Онежка. И Михаил Михайлович... Мне не безразлично, как они обо мне думают. А вам, Константин Константинович, — вам безразлично, что мы о вас думаем? Кого в вас видим? Какого человека?

— Ну, вот что: на испуг не берите. Не выйдет!

— Кажется, уже взял, Константин Константинович. А? Почему бы вам не покритиковать себя перед нами, если именно мы — первоисточник вашего совершенствования? Первоисточник!

Тут Вершенков-старший громко засмеялся, победно поднял палку над головой:

— А что, дорогой мой, если я — сам себе профорг? И если я вас всех пошлю к черту? Философов! Шимшперов!

Рита схватила Онежку за руку:

— А он — пошлет! Возьмет и пошлет — всех. Всех! И меня тоже! Меня еще никто никогда не посылал к черту просто потому, что кому-то так хочется!

Тут подал голос Андрюша:

— Так-таки, батя, всех!

Онежка, услышав эту реплику, тепло улыбнулась про себя.

В городской библиотеке, куда перед каждой сессией ходила заниматься Онежка, в нишах под самым потолком, вверху, стояли бронзовые бюсты: Пастер, Менделеев, Ломоносов, Пушкин, Коперник — еще и еще великие.

Это были единственные боги для Онежки — других она не знала и знала, что других — нет. Но они были людьми, а кем же была тогда Онежка перед ними? Стоило ей что-нибудь непонять в учебнике, поднять лицо к потолку, как тотчас со всех сторон на нее устремлялись бронзовые взгляды: «Мы — люди! Мы — умы! А ты кто?»

Она ответить ничего, совершенно ничего не могла — маленькая, серенькая, — скорее снова склонялась над книгой.

А сейчас в горах, рядом с Андрюшей, с которым они вместе думали, которого она защищала; рядом с Ритой, которой она не уступала; рядом с Лопаревым, у которого было столько своих собственных слов; рядом с «доктором», у которого обо всем было свое мнение, но только мнение это никто не выслушивал; рядом с Вершенковым-старшим и Рязанцевым — она чувствовала, как что-то в ней бунтовало против давней власти умов.

Сначала, в первые дни путешествия, она и здесь ощутила эту власть — очень стеснялась Рязанцева только потому, что он сразу же показался ей всех умнее. А сейчас именно поэтому он стал ей приятен. И она думала, что когда вернется в город, в институт, в библиотеку, с его помощью никогда уже не будет больше испытывать притеснения бронзовых бюстов.

Так случится не потому, что она вдруг станет умнее гениев, а потому, что вместо чувства испуга и даже рабской покорности перед ними, она научилась им радоваться, ими гордиться.

Они обязательно снова спросят: «А ты кто?» Очень просто она скажет: «Онежка. Онежка Петушкова!» «А почему ты не понимаешь наших открытий. Петушкова?» Она улыбнется: «Пойму... А почему вы не объясняете как следует, понятно? Ведь вы не потому великие, что открыли, а потому, что вас поняли?»

Это она им скажет. А молча, только для себя, подумает: «Открою-ка я Пастера, как открывала в горах листовницу, как истод-адопис-эдельвейс открыла!»

Рязанцев назвал всех людей здесь — весь отряд — «первоисточником». А для Онежки было еще проще и яснее не произносить это книжное слово, а сказать, как говорят обычно: «источник».

Люди вокруг нее были источником, в который нужно было погрузиться, в котором только и можно было утолить мучавшую ее жажду общения, понимания, каких-то новых открытий.

И Онежка страдала оттого, что она всех видит, всех слышит, всех понимает, а ее никто не хочет ни увидеть, ни услышать, ни понять.

Если бы ее слушали, она объяснила бы, что все, что говорил Рязанцев, она и раньше знала — и о природе, и о себе знала все. И, слушая его, едва удержалась, чтобы не перебить его: «Это — мое! Откуда вы знаете мое?»

Если бы ее слушали, она сказала бы, как проснулась на днях, не то вчера на рассвете, не то — сегодня, и поняла, что ей не шестнадцать, не семнадцать лет, а двадцать. До этого люди были правы, отказывая ей в нескольких годах, но теперь они уже глубоко ошибаются в этом.

Если бы ее слушали, она спросила бы, правда ли — это так необыкновенно звучит: «истод-адопис-эдельвейс»?!

Спросила бы, как же жить, если с утра и до поздней ночи, даже во сне, ты переполнена мыслями, чувствами, звуками, ожиданиями, а они все идут к тебе, идут без конца, как будто одну тебя знают в целом свете, и волнуют, и требуют, чтобы ты их вместила, поняла, успокоила?

Она спросила бы: разве никто не заметил, какая у нее стала походка? То быстрая-быстрая, словно ее что-то мчит вперед, то осторожная — это она словно боится разбить, разрушить в себе чувства и мысли, которыми она переполнена?

Хлопочет у костра и все время ждет, что вот сейчас кто-нибудь вернется из леса и скажет: «Я открыл медь. Цинк... Золото! Платину!» Или: «Напнулся на скелет ископаемого, которого еще не знает наука!» Просто Вершанков-старший постукивает палкой по кастрюле и объявит: «Я считаю, мы собрали уже такой материал, который меняет все существующие представления о верхней границе леса». Все удивятся, даже растеряются тогда от неожиданности, и никто Онежке не поверит, будто она давно знала, что так случится, что она сегодня, сейчас может об этом всех предупредить!

А открытия все шли к ней. Неумолимо. Не щадили ее. Нисколько.

Была у них с Ритой такая работа — они делали «расчистки»: квадрат сто на сто сантиметров осторожно освобождали от травы, хвои, слой за слоем снимали мох, а затем и сам перегной. Они вели счет всем семенам древесных — нужно было на квадратном метре определить общее количество семян, число семян, вышелущенных мышами, погибших по другим причинам и число всходов...

Сырой перегной пахнул чем-то древним, какими-то грибами, и в этой пахнувшей буровато-черной и рыхлой массе, которая еще не перестала быть различными останками деревьев и трав, со множеством трупииков насекомых, уже царила новая жизнь; было там бесчисленное количество чьих-то личинок, яичек, всходов, каждый из которых стремился только вверх.

Рита с трудом выполняла эту работу, она была брезглива, и тут дело было не в ее капризах, когда она вся менялась в лице, потому что в руке у нее оказывалась самка клеща — зеленая, упившаяся кровью какого-то животного так, что маленькие ножки были у нее едва различимы в центре неимоверно раздувшейся брюшной полости.

И вот, когда Рита проговорила громко:

— Боже мой, — какая мерзость! Чего только нет в этом мерзкое?! — ее услышал Рязанцев.

Подожел, сел рядом, задумчиво поковырял перегной маленькой Ритиной лопаточкой. Сказал:

— Отсюда каждая травинка стремится завоевать земной шар...

И когда они все вместе — Рязанцев, Онежка и Рита — пол-

считали, сколько семян дает одно дерево или один цветок адониса, получилось, что и в самом деле, если бы семена не погибали, если бы их не умерщвляли морозы и раскаленные пески, через несколько лет любая из травинок завоевала бы всю сушу земного шара — сто пятьдесят миллионов квадратных километров!

— Здесь, — сказал Рязанцев, а поглядел куда-то вверх сквозь очки, — в этой тончайшей пленке на поверхности земного шара — взаимодействуют между собой миры... Василий Васильевич Докучаев открыл почвы, как четвертое царство природы, и тогда впервые все три других царства — растений, животных и минералов — предстали перед нами, как нечто общее, существующее одно в зависимости от другого...

Об этом Онежка слышала в институте, но здесь было совсем другое... У Рязанцева голос очень спокойный, но не безразличный. Онежка умела теперь слышать и этого человека, она знала, что спокойствие его проистекает от глубокой уверенности, от торжества, которое он испытывал сейчас. Если бы Рязанцев не был уверен в том, что он говорит, — вот тогда голос его дрогнул бы где-то...

Здесь была Рита, ей ужасно противен был зеленый трупик самки лесного клеща, и она поэтому не хотела ничего больше слышать ни о перегное, ни о четырех царствах природы, а Онежка не должна была, не могла и тут с ней согласиться, она должна была Рите противостоять.

И, глядя на тонкий, черновато-бурый слой перегноя, который они обнажили с Ритой, она слушала Рязанцева — все внимание. Слушала о том, что здесь, в этом тончайшем слое, заканчивают свой необозримый многолетний путь солнечные лучи, здесь рождаются великие реки и океаны, отсюда ничтожные капельки воды поднимаются вверх, чтобы слиться в облака. Здесь кончает свой путь все живое на земле. Здесь присутствуют миры бесконечно малые, которых коснуться можно было только лишь воображением.

Когда Онежка что-то рассматривала в перегное, — под выпуклым стеклом лупы жизнь в нем повторялась дважды: вместе с тем, что видно было простым глазом, возникало еще и новое — множество новых семян, спор, насекомых; когда же она рассматривала частичку перегноя в микроскоп, — жизнь эта удесятерилась.

Видны были тогда некоторые микробы, но, должно быть, и для них существовал свой мир мельчайших и простейших.

Онежка слушала рассказ Рязанцева, как слушают песню.

Отсюда начинались специальные науки, которыми человек, для своего собственного удобства и в силу своего разума и по причине своего неразумения, отделил одни явления и процессы от других явлений и процессов; здесь начинались почвоведение, земледелие и лесоводство, ботаника и зоология, еще мно-

жество «ведений» и «логосов»; и здесь же, постигая этот тончайший слой, человек вынужден будет, рано или поздно, разрушать воздвигнутые им самим границы наук по мере того, как станет он приближаться к смыслу одного лишь краткого слова — жизнь.

Рязанцев, когда кончил говорить, помолчал. Хотел сказать еще что-то, но улыбнулся и спросил:

— Ну, как, Рита? Понятно, или ты скажешь: «Па-а-думашь!»

Оказывается, Рязанцев тоже заметил и даже очень точно мог повторить выражение, с которым Рита это слово произносила.

Рита пожала плечами:

— Если бы не это! — вздохнула она и показала глазами на зеленый трупик самки клеща.

А Онежка? Она снова ничего не сказала. Снова молчала. Только наклонила голову и на розовом лице ее появилась детскость, которая пожилых и даже очень умных людей делает и моложе, и еще умнее, ее же эта детскость сделала смешной: глаза открыты широко, рот приоткрыт тоже, и вся она была в каком-то великом недоумении. Ждала, чтобы и у нее тоже Рязанцев спросил: «Ну, как — интересно?»

Но Рязанцев не спрашивал ее. Ни о чем. Конечно, он это все говорил для Риты. Глядел в ее чуть прикрытые большими ресницами черные глаза и говорил, стараясь, чтобы в глазах этих исчезло выражение какой-то насмешки, чтобы снисходительность исчезла в них.

Не один Рязанцев — все с Ритой так говорили: и Андрюша, и Вершенков-отец, и даже Михмик. Он, разговаривая с нею, хотя и отводил то и дело взгляд в сторону, но всякий раз лишь ненадолго, потом снова тарашился сердито и даже как-то растерянно.

Онежка стала глядеть вокруг себя.

Лес был смешанным и весь залит солнцем — стволы деревьев, ветви, листья пронизаны светом, и травы, и кустарники, и даже камни. Все сияло, слепило взгляд. Зажмуриться пришлось на мгновение.

А когда Онежка снова открыла глаза, ей показалось, будто сырая земля, пахучий чернозем — где только мог, повсюду распахнулся навстречу солнцу. Показалось ей, будто золотистые, почти медные стволы сосен потому черны внизу, что вынесли они в трещинах своей коры почву из глубины...

И тут Онежка нагнулась, взяла горсть перегной и растерла ее на другой руке, выше локтя — на ней кофточка была с короткими рукавами. Перегной и на руке ее заблестел.

— Ты что это делаешь? — удивилась Рита.

— Так... — ответила Онежка. — Просто так. — И подумала: «Как бы понять, отчего же все-таки плакать хочется?»

Своим присутствием Андрюша в самом деле злил, раздражал Риту.

Высокий, сутулый, сильный, он маленькими глазками очень внимательно глядел на травы и насмешливо — на нее, внушал смутное чувство какой-то опасности.

В самом деле, отчего ему, здоровому и крепкому, не идти бы в инженерный институт — в горный или строительный — там готовать в компании таких же, как он, здоровяков и верзил, летом командовать рабочими, ругаться, кричать «ей, ухнем» и подкладывать ломики под контейнеры с надписями: «Осторожно! Не кантовать!»?

Рита выросла в семье инженера, много видела строев и знала, что там и было место таким вот плечистым, здоровым парням, а тут ей все казалось, будто Андрюша вот-вот бросит свои папки с гербариями, морилки с нашатырным спиртом, в которые он своими большими руками сажал маленьких букашек, засмеется и уйдет на стройку, а в экспедиции поймут, что он всех обманывал. Она не хотела быть обманутой, ей хотелось самой его в чем-то изобличить.

Никак не могла она представить себе этого парня на биологическом факультете, в академической группе девушек-ботаников. Он как бы предавал таким образом весь мужской род. И малой доли того презрения, которое она иногда ощущала, не выразила Рита, когда сказала Онежке, что Андрюша не производит на нее впечатления мужчины. В то же время и, как назло, он в двадцать два года обладал уже не юношеской, а мужской жесткостью, уверенностью.

Будь он покрасивее, или будь он, как все парни, влюблен в технику, — наверно, эта его жесткость была бы не так заметна, а теперь он ее как будто нарочно показывал людям, которым оставалось только недоумевать по поводу выбора им специальности.

Рита умела уже создавать между собой и другими такие отношения, каких она хотела: предупредительные и даже ласковые, насмешливые и кокетливые. Но вот в горном институте, в 234-й группе, отношения у нее сложились совсем не такими, каких она хотела.

Сама была виновата. Перестаралась — всех ей нужно было подчинить, над всеми встать, и вот — перестаралась.

В том, как к ней относился Андрюша, и в том, как она к нему относилась, она вовсе не была причиной, не знала, чего хотела и даже как будто вовсе отсутствовала.

Ей иной раз не хотелось острить — он вызывал ее на остроты, заставлял его отвечать или смеяться, когда ей вовсе не до смеха было.

Как-то в лесу, когда Лопарев объявил «перекур», Вершенков же старший, помолчав, сказал, что и в самом деле пора уже «шабашить», а день был очень жарким, трудным, все

устали и молча расселись на маленькой мшистой лужайке, Рита о чем-то очень задумалась. Вернее всего — ни о чем, отдыхала и все. Бросила на влажный мох свой плащ, легла, ноги согнула в коленях, а голову положила на ладонь и смотрела куда-то вверх...

«Доктор» Реутский сидел напротив, поглядывал на нее, а потом не нашел ничего лучшего, как подтолкнуть локтем Вершенкова-младшего:

— Смотри, Андрюша, наша Риточка прямо-таки сфинкс!
Вершенков-младший удивленно вытаращил глаза:

— Кто-кто?

— Сфинкс... Вы что же — не знаете сфинксов?

— Мне слышалось, вы сказали «свинкс». Я и удивился!

— Ах, право, какой вы! И в кого вы? — растерянно зашептал «доктор».

А Вершенков-младший перевернулся на спину, зевнул, потянулся всем телом и еще сказал:

— Ну, как это вы могли подумать, доктор, что я вас, зоолога, не пойму? Сфинкс — это же узконосая обезьяна из рода павианов. Красновато-коричневого цвета. Правильно? Еще она называется пино-пино.

Рита сделала вид, будто не слышала разговора, но ни прости, ни забыть этого не могла. Придумала множество колкостей, обидных слов и хотела вызвать Вершенкова-младшего на словесный поединок.

Он же, как девчонка с куклами, нянчился с засушенными растениями, а на нее никакого внимания не обращал. Настолько он вывел ее из себя своим равнодушием, что она подошла к нему однажды, когда он у костра просушивал какие-то растения, подняла несколько листов гербария над огнем и спросила:

— Хочешь — сожгу?

Он как сидел на земле, ноги крест-накрест, посмотрел одним глазом из-под рваной шляпы, так и не пошевелился.

Она подняла с земли еще один лист, и еще, и еще:

— Ну? Челкаш?!

Он молча встал, отвел ее руки от огня и так сжал, так больно, что листья выпали на землю.

— За баловство не то еще будет!

Олежка в это время тоже была у костра, вытаращила глазенки:

— Ты что—в самом деле, Андрюша? Пошутить с тобой нельзя, Больно, Риточка?

— Не больно. Нисколько! Вот он какой Челкаш—полюбуйся!

Вот он какой был—несносный, грубый, заносчивый. На от-

ца как-то поглядывал свысока. Так же, как и она, когда бывала дома, — на своего отца. Риту он сердил, раздражал, обижал. Обижал еще тем, что если бы она родилась мальчишкой, наверное, на него похожа была бы. В чем-то одном. Может быть, как раз вот этой грубостью.

Когда Вершенков-старший осуществлял единоначалие и давал категорические указания кому, что и как делать на следующий день, младший Вершенков молча ухмылялся, и ей было видно, как ему десять раз все равно, что толкует отец.

И она точь-в-точь так же, бывало, разговаривала со своим отцом.

Если же Вершенков-старший вдруг требовал коллегиального решения всех вопросов, ставил на обсуждение предстоящие маршруты и обследования, а тех, кто молчал, называл саботажниками, — Андрею и тогда, немного по-другому, но опять все это было безразлично.

Отец это знал, не возлекал сына в споры и обсуждения. Если же Андрей все-таки подавал голос, то обычно таким образом:

— А не все ли равно?

И она тоже так отвечала отцу, когда тот очень долго и странно что-нибудь ей объяснял.

Вершенкова-старшего это выводило из себя, он вскакивал в возбуждении. Бинокуляр, полевая сумка, записная книжка с позолоченным штампом Академии наук, перочинный и финский ножи, простой и цветной карандаши — все начинало на нем болтаться, подскакивать и подпрыгивать на ремнях и шнурах, а он еще шляпу срывал с головы:

— Как это понять, Андрей Константинович? Как это «не все ли равно?»

Андюша кивал:

— В общем-то, я согласен с тобой, батя...

На этом отец и сын заключали перемирие.

Другое дело, если вдруг затевал спор Лопарев:

— Планируем все... На пользу науки, а больше на пользу научного отчета.

Тут наступала тишина, потом сквозь эту тишину прорывалась речь Вершенкова-старшего:

— Критиквем? Да? Легко и просто — нашуметь. А что предлагаем? Позитивно!.. Завтра к обеду совершить великое научное открытие? Не возражаю! Согласен. Санкционировать. Излагайте свой план. Слушаю вас, дорогой Михаил Михайлович!

Но слушать Вершенков-старший никого не слушал, произносил речь, в которой громил любителей критиканства и мастеров нашуметь.

Память у него была необычайная, эрудиция чувствовалась

с первого до последнего слова. Он доказывал, что география, биология в целом и лесная биология в частности находятся в настоящее время, в середине двадцатого века, в таком состоянии, когда идет интенсивное накопление фактов, ведутся наблюдения над природой по самым различным и обширным программам и важнейшая задача сегодня — честно и терпеливо трудиться, эти программы выполнять, не рассчитывая на славу и лавры.

А может быть, уже завтра количество фактов перейдет в качество, математики и физики освоют географию и биологию и будут совершены величайшие открытия.

Говорил он горячо, очень верил в то, что говорил, так что Лопарев, послушав его, приподнимал свой кожаный картуз, вытирал на лбу пот и говорил упрямо, как бы уже для одного себя, никого не рассчитывая убедить:

— Больше пользы, если мы представим обычный лесо-устроительный материал. Самый обыкновенный. Как на производстве!

Вершенков в тоне Лопарева усматривал его поражение, произносил еще одну речь, речь победителя, но все время при этом поглядывал в сторону Рязанцева — его он побаивался.

Рита такие перепалки любила, все время с нетерпением ждала коротких реплик Лопарева — с них начиналось обычно все самое интересное.

Рязанцев на планерках никогда не спорил, молчал, от него можно было ждать возражений разве только на другой день.

Еще Рита задумывалась: когда Андрей молчит, совершенно молчит и ничего больше, это что: отношение к отцу или ко всем, кто вокруг него? Не испытывает ли он то самое чувство превосходства над всеми, какое она сама переживала на собраниях 234-й группы в горном институте.

Она волновалась, она всегда волновалась, угадывая в ком-нибудь себя. И тревожилась чем-то, должно быть, всем тем, чего не могла и никогда, наверное, не сможет в нем разгадать.

Когда он молчал на планерках, он что-то записывал себе в записную книжку.

Рита думала: он чертиков там рисует или карикатуры, или стихи пишет, а когда заглянула к нему однажды — оказалось: Андрюша набрасывает план своего маршрута на завтра.

Она спросила:

— Ты что же, Челкаш, не поспоришь с отцом или с Михом? А? Специалист? Бойшься?!

Она понимала, что с отцом ему спорить не пристало, в то же время она догадывалась — он склонен был поддержать Лопарева, чем-то они были друг на друга похожи и мыслями

нередко сходились. Дружбы между ними не было, но они и этим похожи были друг на друга оба, кажется, несколько не нуждались ни в чьей дружбе.

Вершенков-младший пожал плечами:

— Знаешь, как говорил Наполеон?

— Мало ли, как говорил твой Наполеон. И как за него говорили!

— Во главе армии лучше один дурной, чем два умных...

А ведь батя — он же не дурной. Или ты другого мнения?

Этим он ее озадачил. Он, оказывается, защищал своего отца! Ей Вершенков-старший нравился. Она не без иронии Вершенкова иногда слушала — не в этом дело, — он ей нравился. А вот что сын его защищает — это ей претило. Она хотела бы их видеть в столкновениях...

Если Вершенков-младший не смеялся, не острил, тогда говорил с людьми угрюмо. Она не составляла исключения, с ней он был, пожалуй, даже угрюмее и неразговорчивее, чем с другими.

Чем дальше, тем она меньше это ему прощала, ей хотелось поставить его в какое-нибудь глупое, несуразное положение чтобы он растерянно заморгал своими глазками, чтобы некрасивое лицо его потеряло то уверенное выражение, за которым некрасивость скрывалась.

Она все ждала такого случая, прямо-таки сгорала от нетерпения.

На одной планерке Вершенков вдруг заявил, что назавтра люди пойдут в маршруты по двое и надолго — на неделю.

Лопарев и Реутский должны будут подняться к ледникам. Рязанцев с Петушковой — перевалить через хребет и идти по южному его склону. Вершенков-младший и Пловская — по северному.

В программу маршрутов Вершенков включил обычные работы по таксации, такие точно, как выполняются лесоустроительными экспедициями и спросил по этому поводу у Лопарева, — доволен ли он, удовлетворено ли его производственное самолюбие?

Лопарев сдвинул картуз на затылок и сказал:

— А то нет? Доволен!

Рязанцев наклонился к Вершенкову и что-то сказал ему тихо, но Вершенков не преминул его вопрос объявить во всеуслышание:

— «А удобно ли идти девушкам?» Отвечаю, удобно! Неудобства для них чаще возникают в городских парках и скверах, в тайге же я за двадцать семь лет ни о каких неудобствах не слышал. Послать девиц вдвоем — нельзя, а дело требует. В чем же дело?

Андрюша пожал плечами и сказал:

— Нельзя ли мне с Петушковой?

— Это почему? — спросил Вершенков-старший.

— Она таежница.

— Так вот и учи Риту. Учи ее уму-разуму, вершенковской сноровке!

Пока Рита что-нибудь сообразила по поводу этого плана, она уже успела досадить Андриюше; ей показалось — настал долгожданный случай досадить ему:

— Уж я тебя, Челкаш, заставлю себя поучить, — сказала она. — Ты со мной будешь няичиться! Я костер разжигать не умею, ни о какой таксации понятия не имею и на второй день пути сотру обе ножки, будешь водить меня по тайге под ручку! Понял?

И он в самом деле рассердился, покраснел, а она громко-громко засмеялась. Засмеялась, чтобы не показать, что испугалась его, сердитого. Засмеялась, чтобы Онежке показать: вот как она будет обращаться в тайге с ее любимым, узкоглазым Андриюшкой! Назло пойдет с ним в маршрут, назло заставит его за собой ухаживать!

А вечером после планерки Рита всячески избегала встреч с Реутским.

Видела, как он следит за каждым ее шагом, ждет и никак не дожидается такой минуты, когда она будет одна. Мучается.

Она не сомневалась: такая минута наступит, такая минута ей тоже была нужна, быть может, не меньше, чем ему. Только она не хотела, чтобы минута эта наступила по его желанию. Разговор состоится, когда она захочет. Что она скажет Реутскому, какие слова — добрые, злые, — не знала, не зная этого, все больше и больше волновалась, все больше чувствовала, как молча, на расстоянии, она овладевает Реутским, как он готов уже выслушать все, что угодно от нее, любую несправедливость, любые упреки, во всем готов ей подчиниться, унизиться перед ней.

Чтобы не выдать себя, свое нетерпеливое желание встретиться с Реутским, Рита была необычайно ласкова и внимательна в этот вечер к Онежке, не отходила от нее ни на шаг. Что-то она говорила подруге, над чем-то они смеялись вместе, а тем временем воображение Риты от самого начала до самого конца рисовало разговор, который должен быть у нее с Реутским. Она уже видела Реутского, совершенно отчаявшегося, со слезами на глазах, с мольбой в голосе — это возбуждало ее еще больше и еще меньше она знала, что же она ему ответит.

Реутский несколько раз решался заговорить с Ритой при всех, она всякий раз этот момент очень точно улавливала и останавливала его взглядом. Он подчинялся.

Наконец, Вершенков-старший сложил руки трубкой и провозгласил:

— Отбой!

Реутский кинулся к ней, а она, собрав уже последние силы, обняла Онежку за плечи и сказала ей:

— Пойдем, Онега, спать. Завтра — нам в путешествие! Чуть свет! Я с Андриюшей с удовольствием прогуляюсь на нельдуку!

Но сама ночь не спала, слушала, как Реутский ходил около палатки так же, как во время ее болезни, как он шептал: «Рита! Вы не спите, Рита? Проснитесь, Рита...»

Когда же Реутский на некоторое время уходил к себе, укладывался в спальный мешок, и ей начинало казаться, будто он уснул, ее охватывала дрожь. Дрожь от обиды.

Утром она умывалась из ручья, долго, тщательно гляделась в круглое зеркальце.

Хороша она была! Хороша...

Все идет к красивому лицу, все его еще и еще красит!

Она сильно загорела в последние дни десяти-двенадцать, покуда стояла солнечная погода, загар придавал ей такой вид, о котором она сама никогда не подозревала: что-то таинственное появилось в выражении ее лица, чуть-чуть, едва заметно диковатое...

На смуглом же лице особенно улыбка выигрывала — чуть загадочная, манящая, когда губы вдруг делались тоньше и едва заметно вздрагивали. И весь рисунок рта на смуглом был как бы ярче и был виден сразу во всех неуловимых прежде подробностях.

Она похудела немного после болезни и тоже немного, совсем чуть-чуть, выступили и острее стали скулы. Это придавало ей теперь новый облик, что-то восточное, и каждый, кто чувствует восточную красоту, мог это заметить.

А кто не чувствует — что же — еще и еще можно было на нее глядеть, глядеть разными глазами в ее темные, всегда устремленные навстречу чужому взгляду глаза.

Она и сама на себя могла глядеть часами и по-разному и разное в себе видеть. Иногда это ее поражало, тревожило: она боялась потерять ощущение того, какая она есть на самом деле.

Тогда она старалась не вглядываться в себя, а в себя вслушиваться, вызывала в себе «это» — это особенное, это — единственно ей принадлежащее, это — во что она верила безраздельно, хотя так и не знала, что оно.

«Это» — все разное в ней соединяло во что-то одно, и она снова совершенно точно начинала знать, какая она, снова овладевала каждым своим взглядом, каждой едва заметной улыбкой, каждой черточкой своего лица и даже всем, что было на ней — шпильками, брошкой, косынкой, родинкой на правой щеке, у самого подбородка.

Умывшись на ручье, она пошла к палаткам и так легко, будто совсем не касалась земли.

Только одна мысль нарушала ощущение собственной при-

влекательности и легкости, легкости едва-едва занявшегося в горах утра: она боялась, что Реутский не ждет ее за огромным, в каплях росы, кустом рябины.

Но он ждал ее там, за этим кустом. Вышел, прикоснулся к ее руке.

— Рита! Что вы делаете? Разве можно так? Зачем вы идете с ним в тайгу?!

Бородка у него была в каплях росы, как в слезинках.

Она тоже ласково коснулась его руки:

— О чем это вы, Лева?

Он стал ее уговаривать, стал умолять, чтобы она отказалась, не ходила с Андреем в маршрут, и все теми словами, которые еще вчера с вечера так безошибочно, так точно нашптало сы ее воображение.

Она слушала, улыбалась, смутно догадываясь о том, какие слова должен был сказать ей Реутский, чтобы добиться своего. «Вы не хотите меня слушать? Моих советов?! Так черт с вами, поступайте, как сами знаете!»

А она никак не знала, ничего не знала, почему и зачем так поступает, отправляясь в маршрут с Андрюшей. Тогда она испугалась бы своего незнания и осталась в лагере. И Реутский добился бы своего.

Но он просил, что-то лепетал, а она слушала, и ей было удивительно приятно, радостно. Она подождала ровно столько, чтобы не стало уж неприятно его слушать и перебила:

— Вот и я думаю, — сказала ему нежно, — настоящих чувств не существует без волнений!..

Всегда так бывало: она понимала, когда люди волнуются, когда сердятся, когда радуются, и тотчас это вызывало в ней совершенно обратное чувство: с сердитыми она становилась доброй, с радостными — грустной, с взволнованными — очень спокойной. Наверное, поэтому труднее всего ей было со спокойными людьми.

Следующие полчаса-час, пока завтракали на утреннем холмике и собирались в путь, показались Рите бесконечными. Каждую секунду она решала отказаться, не идти в маршрут с Андрюшей, успевая понять, что это — нужно, что это — лучше, что она боится Андрюши. Но в ту же самую секунду она успевала понимание и страх отбросить, почувствовать не то гордость, не то отчаяние, которые заставляли ее с Андрюшей идти. Идти, чтобы Реутский изнывал и терзался, чтобы Онежка переживала, чтобы Андрюша потерял с ней неизменную свою уверенность и тоже терзался, чтобы она Андрюши в этом походе боялась и чтобы потом, когда все кончится, когда все вернется из маршрута, она не могла бы себя упрекнуть: «Эх ты! Трусиха... Перепугалась какого-то мальчишки с пороссячьими глазами!» Очень страшной была для нее даже возможность такого упрека самой себе.

Когда же Вершенков-старший встал и, как всегда, сложив руки трубкой, крикнул громко: «В поле! По коням!», что значило — в путь, в маршрут! — и Онежка с Рязанцевым шагнули в пойменные кусты, мимо большой, все еще в каплях росы, рябины, Лопарев и Реутский с места двинулись в гору, на подъем, а Рита, глядя в спину Андриюши почти невидящими глазами, сделала вслед за ним первые шаги, — минувшие полчаса сборов и завтрака показались ей одной-единственной секундой, одним кратким мгновением.

Ничего в это мгновение нельзя было сообразить, ничего нельзя решить, и вот она идет теперь и только потому идет куда-то, что кто-то не дал ей хотя бы еще нескольких секунд для размышления... Мало ли какие доводы могла бы она привести: что у нее болит зуб, болит нога, болит голова, что она просто-напросто не хочет, не считает для себя возможным идти в такое путешествие с парнем.

Был бы парень интересный, тактичный, разумный! Но с таким, как этот, — боже, что за наказание идти с таким!

Шли они по тропинке, которая хоть и была едва приметна, все-таки не только вперед, но и назад, к лагерю, тоже указывала путь. Внизу, в кустах узкой поймы, метался зеленый с пестрым ручей, прятался в зарослях, выпрыгивал на камни, взмахивал белой пеной и снова исчезал. И хотя ручей метался, прыгал то в одном, то в другом месте, был шальным, он все-таки бежал туда, откуда Рита уходила...

Вверх, выше тропы, громоздились к самому небу скалы, сложенные из громадных угловатых каменных глыб, из которых, казалось, ничего немислимо было сложить. Скалы теснили тропу, сталкивали ее в ручей, и она прыгала с одного берега па другой, и каждый ее прыжок казался последним, — вот-вот тропа должна была совсем исчезнуть.

Тропа должна была исчезнуть, ручей — заблудиться в кустарнике — это Рита видела, а больше ничего ей не было видно, ничего она не замечала: ни голубого неба, которое откуда-то из-за скалы пронизано было солнечным светом, ни далеких белков, повисших в этом небе... Даже себя она не замечала. Шла за Андреем, каждый шаг был для нее испытанием, как всякое тяжелое испытание — слепое, без видимых причин, которое можно выдержать или не выдержать, — а объяснить нельзя.

Она будто и не по тропе шла и по камням, а карабкалась от одного страшного случая к другому, еще более страшному.

Пересекали они с Андреем ручей. Андрей перепрыгнул на другую сторону, а для нее выворотил из земли большой трухлявый сук и бросил в воду. И когда он этот сук выворачивал, а она взглянула ему в лицо, от напряжения налившись кровью, она его так испугалась, что подумала — сейчас умрет от страха.

Не умерла, ничего не случилось. Шли дальше.

Она заметила впереди на тропе большой мшистый камень.

весь пестрый какой-то и лохматый, вспомнила, как хотела сжечь на костре листья из Андрюшиного гербария и как он схватил ее за руки, очень больно сделал, а потом сказал угрюмо: «За баловство не то еще будет!». Вспомнила, догадалась: «Вот где ей будет за баловство — около этого камня!» Отстала... Не хотела к камню приближаться.

Андрюша спросил:

— Что ты там нашла интересное? Растение? — И хотел вернуться, а она, зажмурившись, пустилась мимо лохматого камня бегом. Когда отошли еще метров сто, подумала: «Хотя бы в бога я верила, что ли!»

Оттого, что вся странность и весь ужас и одного, и другого, и третьего случая никак не проявлялись, ни на ручье, ни у лохматого камня ничего не случилось, Рите ничуть не было легче. Нисколько это ее не успокаивало. Наоборот, еще страшнее становилось: все-таки, что могло бы уже произойти, стать пережитым, испытанным — все это еще впереди, еще оживало!

«Боже мой! — думала она. — Как бы хорошо, как было бы прекрасно, если бы она была, как все, чтобы все у нее было, как у всех, чтобы она, если чувствовала, что ей нельзя, невозможно идти в маршрут с Андреем, что она почему-то, неизвестно — почему, страшно боится его, так и не ходила бы с ним, не выдумывала бы, что это ей нужно!»

Но она всегда презирала всех, всегда хотела быть не как все, и вот сегодня эти все отомстят ей. У старого и черного от старости дерева, в которое улирается тропа, случится месьт!

Было у нее такое средство, такой талисман: посмотретья на себя в зеркало, залюбоваться собою и в себя поверить. И хотя понимала — сейчас это не ко времени, все-таки вынула из полевой сумки зеркальце. Не узнала ни своих глаз, ни своего рта, ничего не узнала, чем любовалась совсем недавно, умываясь на ручье, не сообразила еще, какая она, когда вдрогнула вся: сверху от черного дерева смотрел на нее Андрей... Так смотрел, что она зеркальце чуть не выронила и крикнула:

— Ну, чего тебе? Чего? — А он молча смотрел, и вот теперь было у него точь-в-точь такое выражение, как тогда, когда он сжал до боли ее руки, а потом сказал: «За баловство — не то еще будет!»

В конце-концов она совсем изнемогла, ходила за Андреем следом и записывала цифры, которые он ей называл: возраст деревьев, их окружность на высоте груди, породный состав... Сначала будто не она записывала, а кто-то другой за нее, но ее рукой, кто — ей безразлично было. Потом она открытие сделала для себя, жуткое открытие: скоро уже наступит ночь, наступит тьма, и во тьме они с Андреем останутся вдвоем. Тут, от страха, должно быть, она стала понимать все цифры, стала чувствовать, что это она их записывает, а не кто-то другой и хо-

тела теперь, чтобы цифр было как можно больше, бесконечно много, чтобы и вечер длился тоже без конца...

Ночь наступила какая-то пустая. Пустая и все... Всегда, как бы ни было темно, за темнотой чувствуешь других людей, если нет людей, — чувствуешь стены, деревья, горы, небо... Наконец, луну чувствуешь и звезды.

Но тут ничего не было, пусто было... Днем Рита так боялась, так видела каждое движение Андрея и каждое выражение его лица, так устала и видеть, и слышать его, что когда он уснул на пихтовых ветвях, под которыми прогрел сначала землю ко стром, она не смогла сообразить — что случилось. Хорошо это было, что он спит и не видит больше ее, или это было плохо, и по-прежнему страшно.

Андрей как будто дал ей какой-то срок, какой-то отпуск от себя. И все остальное — леса, горы, небо, сама ночь — тоже отпустили ее от себя. Сидя у костра, она долго ощущала вокруг это ничто, прежде чем у нее появились мысли о чем-то.

Чем-то совершенно неожиданным оказалось ее прошлое, но тоже далеко не все — она вспоминала только себя и еще двух людей: Реутского и тетку с материнской стороны, которую у них в семье называли длинным, неуклюжим именем — тетья «Что такое хорошо, что такое плохо». Только себя и этих двоих. Она даже не вспомнила, каким образом ассистент кафедры зоологии Реутский вызвал ее к себе в первый раз — лаборанта послал за ней или кого-нибудь из студентов, но только он вызвал ее, когда был на кафедре совсем один.

Она вошла в первую комнату кафедры, где занимались аспиранты и ассистенты, — никого; вошла во вторую, где помещались доценты, — никого и тут догадалась — Реутский ждал ее в кабинете завкафедрой.

Он спросил ее, чуть-чуть смутившись:

— Это — вы? — Помолчав, сказал: — Садитесь... Наверно, хотите знать, зачем и вас вызвал?

Как будто она не знала — зачем! Хотел приблизить ее к себе, вот и все! Это уже другое дело — каким образом: предложить ей научную работу под своим руководством или работу в редколлегии факультетской стенгазеты, тоже под своим руководством...

Мужчины, мужчины... Взрослые, умные, ученые доценты, кандидаты наук, кандидаты в доктора, в члены-корреспонденты и в действительные члены!

Он предложил ей пройти нынешнюю летнюю практику в экспедиции.

— А кем вы там будете? — спросила она.

Он ответил:

— Никем... Рядовым научным работником. Руководитель экспедиции профессор — доктор Вершенков. Эрудит. Приятель моего отца. Шеф моей докторской работы.

Если бы Реутский не был тогда смешным, он был бы очень интересным: лицо правильное, с небольшой русской бородкой, голубые глаза...

Она сказала:

— Подумаю...— И тотчас поднялась с кресла.

Как это было для него неожиданно, что она поднялась, — он, должно быть, едва не вскрикнул. Сколько дней он выжидал момент, когда на кафедре не будет научных работников, когда лаборантов он сумеет разослать с различными поручениями, когда будет знать, что студентка Плонская в университете и может придти к нему, и все это ради лишь нескольких слов, которыми они запросто могли бы обменяться где-нибудь в коридоре или в раздевалке! Она и сама посидела бы здесь еще и еще на него потарасилась бы, но, пожалуй, через минуту-другую он мог заговорить уже другим тоном — с достоинством.

Он все-таки успел спросить:

— А когда же вы решите?

В дверях она задержалась:

— Когда вам будет удобно... Когда вы снова сможете меня вызвать!

Пусть повторит все сначала: снова найдет такой редкий момент, когда и она в университете, и на кафедре — никого.

После этого она забежала в общежитие, переделалась и поехала на другой конец города к тете «Что такое хорошо, что такое плохо».

И не ошиблась.

Тетя покормила ее пирожками с яблочным вареньем, она — ни слова. Тетя предложила на карманные расходы, она — ни слова. Тетя отчаялась, отдала ей свой билет на премьеру, а потом еще битый час говорила восторженные «хорошо» по поводу Ритиных глаз и прически. Наконец, тетя не выдержала:

— Ну, как там в университете чувствует себя Левинка Реутский? Надеюсь — хорошо? У тебя не было с ним никакого разговора?

— Так... Мельком.

Тете ничего и не нужно было больше. Она всплеснула руками:

— Это — хорошо! Это совсем-совсем неплохо!

Мамина родная сестра, тетя «Что такое хорошо», так же, как и мама, и еще больше, любила быть причиной всему на свете.

Только у мамы эта страсть за всех все решать была глубже, значительнее. Если у кого-то из маминых знакомых, в судьбе которых мама принимала участие, была большая драма, так у них дома драма была еще больше и обязательно кончалась ссорой матери с отцом.

У тети никогда и никаких драм дома не было, потому что

она страшно боялась своего мужа, преподавателя логики, детей у нее тоже не было, но тетя без драм не могла, без семейных событий — тоже, и все это она очень усердно, талантливо искала и находила среди своих близких знакомых и родственников.

Когда Рита бросила горный институт и приказ не имел даже такой общепринятой формулировки, как «отчислена по состоянию здоровья», или «по семейным обстоятельствам», а лаконично сообщал, что она «отчислена за систематическое непосещение занятий и несдачу экзаменов», когда на руках у Риты не было не то что самой серенькой, а попросту никакой комсомольской характеристики, — мама впала в состояние транса и лежала с примочками на лбу, а тетя «Что такое хорошо» немедленно телеграфировала:

«Милая Риточка выезжай началу нового семестра университете относительно факультета договоримся целую поздравляю днем рождения твоя тетя».

Рита приехала, тетя сказала:

— Знаешь, милая, мой Петр Петрович может устроить все. Он на прекрасном счету в университете. Он — безусловно, самый сильный логик во всем городе. Но мы сделаем по-другому: через профессора Реутского. У профессора сын Левочка, молодой ученый, заместитель декана, и потом — у него драма...

Этим все было сказано: если «драма», значит, тетя близка к этой семье, а если она близка — значит, семья милая, а если милая, вполне можно полагаться на то, что члены этой семьи поступят по отношению к Рите тоже очень мило, помогут ей устроиться в университет.

Немного неожиданными для Риты были разве только некоторые частности... Например, тетя настояла, чтобы они с Ритой нанесли домашний визит Реутским. И они этот визит нанесли. Сначала Рита чувствовала себя неловко в сумрачной обстановке старинного профессорского дома и в присутствии будущего своего заместителя декана, которого тетя с материнской нежностью называла Левочкой, вздыхая при этом, Левочка переживал драму: к нему отказалась приехать невеста. Левочкин папа помог способной девушке устроиться в аспирантуру МГУ, способная девушка досрочно защитила диссертацию и раздумала возвращаться в Сибирь — она вышла замуж за москвича.

В свете этого события участие Реутских в судьбе Риты выглядело особенно трогательно и благородно, тетя прослезилась, Рита же довольно быстро освоилась и, кажется, произвела на профессора даже большее впечатление, чем на Левочку.

Все было устроено и с университетом, и с общежитием. Вопрос с общежитием тревожил Риту: она не хотела жить у тети, опасаясь ее слишком пылких родственных чувств и забот.

К счастью, опасения оказались напрасными. Тетя сказала

— Общежитие — это хорошо! Это — необходимо! Извини, милля, Петр Петрович нуждается в постоянном отдыхе.

И вот, кушая у тети пирожки с яблочным вареньем и предвкушая посещение премьеры, пропуская мимо ушей восторженные тетины «хорошо» по поводу своих глаз и своей прически, Рита переживала разные, но в общем-то все радостные ощущения, самым же главным, самым значительным была догадка, которая осенила ее во время недавнего разговора с замдекана.

Далекие же планы строила, оказывается, тетя, когда вызывала племянницу телеграммой!

Давно же решила она, что такое хорошо! И вот, в течение нескольких месяцев, которые прошли с тех пор, у Риты все в больших и больших подробностях и все чаще возникало представление о том, как они будут с Левочкой Реутским вместе.

Вместе в театре. Вместе в гостях. Вместе на Черном море... Вместе на какой-то не очень еще ясной, но все-таки существующей для них работе. Вместе два красивых человека: молодой способный научный работник, молодая очень привлекательная женщина, мимо которой не может пройти, не любуясь, ни один человек, — на берегу красивого, яркого моря... Боже мой! — все трепетало в Рите, когда картину эту воображение ей рисовало!

В самом деле, могла ли она оставаться равнодушной, оставаться безучастной к такой судьбе, даже если бы это не ее была судьба, а чья-то чужая? Не завидовать ей, не желать ее для себя, упрекать в чем-то тетю, которая откуда-то знала, что такое хорошо? Если человек неравнодушен к прекрасному, — может ли он быть равнодушен к этому?

Разве не было в этом того необыкновенного, чего она всегда желала?

Перед самым отъездом на Алтай Рита сделала так, чтобы Реутский пригласил ее на бал в Дом офицеров. Там их видели свои университетские, политехники и все военное училище видело.

Тетя тоже видела их. И потом, когда снаряжала Риту в экспедицию, шила ей шаровары, маленькую подушечку-думку, произнесла своего рода признание:

— Я очень счастлива с Петром Петровичем! Он — самый сильный логик в городе. Я всю жизнь его уважала, и это хорошо! Это логично, что я его уважаю. Так и должно быть. Он, кажется, лучше меня. — Она помолчала и молча повздыхала. — Но если бы я была лучше его, я заставила бы его уважать себя. А муж, который очень уважает свою жену, всегда такой, каким его хочет видеть жена.

Она увидела на балу больше других, тетя — увидела, как в тот вечер Рита окончательно покорила Левушку Реутского.

Но в экспедиции Рита вела себя так, что никто и ни о чем

ни сном, ни духом не догадывался, и Реутского заставила вести себя так же. Нужно было проявить выдержку, нужно было, чтобы Реутский в полную меру почувствовал ее характер. Считалось, что, кроме Вершенковых, старшего и младшего, в экспедиции все встретились совершенно случайно.

И это в то время, когда весь университет, все политехники, все военное училище гадали: чем кончится поездка Льва Реутского и Риты Плонской на Алтай?

Свою семью — нелады между матерью и отцом, тетю «Что такое хорошо» с ее хлопотами, себя со своими прошлыми увлечениями и увлечениями ею — все это Рита всегда умела видеть немного свысока, иронически и как бы даже со стороны. Со стороны той Риты, которая далеко не во всей повседневной жизни принимала участие, а хранила себя до времени, когда в ней раскроется ее никому до сих пор недоступное «это». Но вот появился Реутский, и способность ее видеть и других, и себя со стороны вдруг исчезла. Она почувствовала, что с Реутским она может быть каждый день вся, со всем своим «этим», что она устала быть девушкой. Она хотела стать женщиной, войти в мир женщин. Появляла, хотела этого так, чтобы, если ей не понравится, она смогла бы вернуться обратно. Этого нельзя сделать — она гнала прочь такую мысль, такое нельзя.

Левушка Реутский просто освободит ее от усталости. Просто они будут всегда вместе. Им всегда будет легко вдвоем.

Почему теперь у костра, сразу из ощущения «ничего», из пустоты этой так страшно и необычно начавшейся ночи, воображение вдруг прихотливо и сразу унесло ее к ее прошлому и к будущему, которое обязательно должно было наступить?

Она не задумывалась — почему, она была растрогана. Кажется, даже слезы появились у нее на щеках. Ну да, появились!

Она снова почувствовала очень красивую себя вместе с представительным Реутским, и страх, который она пережила днем в походе с Андриюшей, показался ей вдруг каким-то странным страхом, не настоящим, выдуманым, потому что когда веришь в будущее — не боишься никакого настоящего.

Чего ей было бояться мальчишки? Чего ради?

В первый раз за долгие-долгие ночные часы Рита пошевелила ногами, потом, преодолевая боль, вытянула их. Когда боль в ногах немного утихла, поднялась и бросила в прозрачные от огня угли костра сухие ветки.

Заяжлось пламя... В черную пустоту стали вступать причудливые, тоже темные изваяния отводов, камней. Черные лохмы ветвей потянулись к огню сверху, но круг, освещенный пламенем, все еще был невелик.

Она подбрасывала ветви еще и еще и, наконец, в этом круге появился Андриюша, сначала до пояса, потом — весь.

Он лежал на пихтовых ветвях, под головой — дождевик. С вечера хотел отдать дождевик ей, — она в испуге отмахнулась,

сказала: ей ничего от него не нужно, ничего! Спал он как-то умеючи: спокойно, деловито и чутко. Хрустнуть сейчас веткой — он проснется и ни секунды ему не надо будет, чтобы сообразить, где он и что с ним. Как будто и во сне помнил, что дождевик у него под головой, полевая сумка — слева, ружье — справа.

Спал и будто во сне слушал.

Скуластое лицо, лохматые стариковские брови ночью, при свете костра, были добродушнее, как-то больше к месту, и, глядя в это лицо, Рита еще раз убедилась, что совсем-совсем напрасно боялась днем, что мальчишка этот — забавный немного, немного угрюмый — и больше ничего. Он ее выносливее, он совсем ученый, может запросто спорить с Реутским, с Лопаревым, в ботанике он сильнее своего отца, Вершенкова-старшего, а она — выше его своим женским умом и, если захочет, будет относиться к нему, как ко многим людям относится, — чуть свысока.

Она любит, любит Реутского, мечтает о будущем вместе с ним и с такой мечтой тоже может смотреть на Андрея, как женщина смотрит на мальчика, хотя бы и на очень умного, очень упрямого, очень сильного, но все-таки — мальчика.

Вспомнила, как Реутский уговаривал ее, умолял не ходить в маршрут вместе с Андреем, и догадалась:

«Вот откуда этот страх был: он не мой, он Левушкин, страх! Левушка мне его внушил. Удивилась почему, когда ей было так страшно с Андреем, она ни разу о Левушке не вспомнила? Чувствовала себя такой одинокой, а он ни разу к ней не пришел, ничем о себе не напомнил! Но вдруг ощутила необходимость быть ласковой, заботливой и стала упрекать не его, а себя: маршрут продлится еще долго, еще с неделю они проведут с Андреем в лесу, и всю неделю Лева будет мучиться и терзаться...

Зачем она так сделала? Никогда она себя ни в чем не упрекала, если ей случалось досадить кому-то, а тут почувствовала вдруг смятение, снова села к огню. Не то вслух, не то про себя думала: «Милый, милый Левушка! Почему я не вспомнила тебя, когда мне было страшно с Андреем? Как же так? Почему? Почему забыла? Почему не пожалела тебя утром?»

Она мысленно сказала «милый», сказала как будто случайно, но это оказалось не просто ласковое обращение к Лева Реутскому, нет.

На самом деле он был милым. Его маленькая русая борода и большие голубые глаза казались строгими. Казались такими. А на самом деле они были милыми.

Его манера держаться и тот энтузиазм, с которыми он проводил практические занятия со студентами-зоологами, были манерами и энтузиазмом ученого. Еще больше они были милыми.

Его смущение, с которым он впервые пригласил ее к себе

на кафедру, с которым весной танцевал с нею на балу в Доме офицеров, было наивным, каким-то детским смущением. На первый взгляд. А если внимательно, без насмешки посмотреть, — он очень мил в смущении.

И послушание, с которым он выполнял в экспедиции его вздорное требование — ни словом, ни жестом не выдавать знакомства между ними, — оно тоже было трогательно-милым.

Потом, прочувствовав все милое, что было в Реутском, Рита представила, что где-то сейчас, вот так же, вдвоем, ночуют в лесу Онежка с Рязанцевым. Там все спокойно, просто между ними, как между детьми.

«Хорошо и просто Онежке, — подумала Рита. — Хорошо быть такой простой, совсем несложной, как Онежка, такой беззаботной, быть, как все!»

Слово «хорошо» напомнило ей ее тетушку, а сейчас не хотелось думать тетиними словами. Но другого слова она не нашла и, не то, чтобы завидуя Онежке, а как-то покровительствуя ей, как старшая младшей, мысленно повторила снова: «Хорошо Онежке. Но и мне тоже скоро-скоро будет хорошо с милым Левой! И у меня тоже не будет никаких тревог...»

Рита проснулась и тотчас кого-то спросила: что с ней случилось?

Всю ночь она чувствовала, как она спит, и всю ночь знала: лишь только сон чуть-чуть отпустит ее, она сразу же проснется, проснется для того, чтобы узнать, — что случилось!

Открыла глаза. Думала, что ее встретит раннее утро, может быть, — рассвет, но сон, настойчивый, цепкий, оказывается, держал ее долго: солнце светило уже совсем ярко, полдню, и уже теплым было все вокруг в его красноватых лучах.

Чуть душновато пахли известью теплые стены, полы — охрой, простыня и наволочка — мылом, но сильнее всего пахло травой и теплым лесом.

Из окна веяло дымком, должно быть, во дворе топилась печурка, запах же леса где-то здесь, совсем рядом был. Откинула тонкое розовенькое покрывало, приблизила к лицу сначала одну, потом другую руку, склонила голову сначала к одному, потом к другому плечу, и запахи пихты, мхов, кедра, сыровой сосновой хвои стали совсем явственными. Рассыпала волосы по лицу — запахи еще сильнее, а солнечный свет блуждал теперь множеством разноцветных искр, просачиваясь сквозь почерневшие у самых глаз волосы.

Запахи она принесла с собой из леса, теплом согрела их своим.

Лес, горы, простор всегда ее немного пугали, озадачивали. И не потому, что она боялась заблудиться, не потому, что при-

роду не любила, а из-за того, что не любила среди природы оставаться одна, не знала, что с собой делать.

Одиночество среди природы она всякий раз воспринимала, как упрек себе со стороны чуть ли не всего мира, который ее тогда окружал: деревья, трава, неба, звезд. Упреки же, в чем бы то ни было, она переносила с трудом.

Она вдруг начинала тосковать одна, люди нужны были ей, хотя бы те, которых она не любила и даже презирала... Может быть, именно эти люди нужны были прежде всего, чтобы они видели, какая она веселая, яркая, певучая среди яркой и певучей природы. Но не было людей — и она не знала, зачем она одна, скучала и стыдилась своей скуки и своего желания встреч с людьми тоже стыдилась.

В маршруте они были вдвоем с Андреем, Андрей все время молчал, и она думала о том, как хорошо было бы, если бы с ними кто-нибудь третий и четвертый шел горными тропами.

В этот раз ей так хотелось вовсе не для того, чтобы трое или четверо ею любовались, просто знала — чем больше будет рядом людей, тем спокойнее она станет чувствовать себя с Андреем.

В лесу она была одна — Андрей молчал все время, совсем не замечал ее, на нее не смотрел, но лес не воспользовался ее одиночеством, ни в чем ее не упрекнул за все эти дни.

Должно быть, поэтому она сейчас нежно, чутко и благодарно вдыхала принесенные с собой запахи леса и хотела, чтобы они не исчезли. Какую-то ласку к лесу вдруг почувствовала и долго слушала его шорох за окном. Но, полежав еще несколько минут, все-таки поняла, что проснулась не от этого, а от какого-то другого ощущения и что главное, что с ней случилось, тоже не это, тоже другое. Прислушивалась к себе, закрыла глаза... Может быть, другое было в том, как несколько дней они работали с Андреем в лесу?

После ночи, когда она вдруг так мило подумала о Ревтском — о нем и о себе вместе, — она встретила день, как человек, наконец-то нашедший трудное для себя решение, и поэтому уже не думала больше о себе. Тем более, что время незаметно вручило ей другую заботу: дело.

Рита, если она хотела, умела многое делать. Она училась хорошо, но только по тем предметам, которые читали хорошие лекторы, плохих не слушала, на скучных лекциях рисовала чертиков, красавиц и читала Паустовского.

Приезжая в праздничные дни к тете «Что такое хорошо», она облачалась в тетин халат, заворачивая его на своей талии чуть ли не вдвое, поднимала рукава халата повыше, голову понызывала самой что ни на есть худенькой и старенькой косышкой и, заливаясь песнями, начинала теснить тетю на кухне.

И она не только пела — дело сповилось у нее, будто она весь свой век стряпала пирожки и торты.

Но в заключение обязательно должна была произойти такая сцена: гости приходят, тетя уже приедет, а Рита все еще в тетином халате с засученными рукавами, волосы, выбившиеся сквозь драную косынку, припудрены мукой.

Или — на студенческом субботнике. Было кого увлекать, кем командовать, над кем смеяться. И она работала так, что на другой день руки были у нее нестерпимо, и она ворчала на себя, соображая: по какому такому поводу она вчера с ума спятила?

Одним словом, работая, она тоже не могла быть одна, не могла быть без людей.

В маршруте с Андреем никто на нее не смотрел, никто ею не любовался. Андрей любовался только травами. Увлекать тоже некого было за собой, она сама едва-едва успевала за своим спутником.

Один раз она нашла эдельвейс. Обрадовалась. За эдельвейсом, она знала, туристы на Западе совершают многодневные восхождения в Альпы, эдельвейс и верхняя граница его распространения очень интересовали Вершенковых старшего и младшего, и еще потому Рита обрадовалась, что цветок этот Онежка находила уже несколько раз, ей же не повезло ни разу.

Она даже по латыни вспомнила название, не очень уверенно, но все-таки крикнула:

— Лезитодиум! Эдельвейс! Ура!.. Эврика! Эврика!

Подождал Андрей, поглядел:

— Э-э... Ври-ка! Обыкновенный бессмертник.

Он умел иронизировать и уколоть тоже умел с такой саркастической усмешкой лолсухого своего лица, но тут был занят делом настолько, что даже не засмеялся, сказал серьезно: «Э-э... Ври-ка!», махнул рукой и больше ничего.

Она ответила:

-- Па-аду-маешь!

Но спорить не стала. Если бы и захотела, не смогла бы с ним спорить, такой он был уверенный.

Потом ждала, что он все-таки вспомнит этот случай, должен был его вспомнить, а он уселся на поваленный кедр, поковырял кривым ножом еще крепкую кору и сказал:

— Менделеев в своей таблице указал на существование еще не открытых элементов, а ботаник Цингер описал растение — торицу предусмотренную, о которой ничего не знал... Что главное? Главное — постигнуть систему... Так! А как постигнуть? Интер-ресно?

Рита кивнула Андрею молча, а ему все равно было, слышит она его или не слышит, понимает или не понимает. Если бы ее не было рядом, он то же самое и с тем же выражением сказал бы кому-нибудь — дереву, камню или небу...

Она все время была рядом с ним, а он был один. Но он се-

бя даже одного не чувствовал, несколько, не замечал и не видел; говорил о торице предусмотренной, а себя — не слышал.

Мало того, он ее тоже заставил не замечать самое себя — вот уже несколько часов она о себе, о своем существовании ни разу не вспомнила. Двигалась в сумраке тихого хвойного леса, делала записи, жила, а себя не замечала. Это так ново было для нее, так необычно, что сначала она себе не поверила. Могло ли это быть с нею? Могло ли быть с живым, двигающимся, говорящим человеком?

Никогда еще ни одна мысль, ни одна радость, ни одно несчастье не смогли заставить ее забыть себя, заслонить ее от нее... Никогда так не было...

А если бы она что-то такое же умное произносила, как Андрей, если бы так же, как и он, раздумывала о какой-то системе, она в эти минуты душевного и умственного напряжения особенно сильно чувствовала бы себя всю: свои глаза, свои руки, свой голос, все свое «это»...

Она так и представляла себе до сих пор — будто чем сильнее у человека мысль, тем больше он чувствует себя.

Должно быть, это было не так, должно быть, она не знала до сих пор, что можно достигнуть чего-то в мыслях, в делах, когда твое «это» дремлет, когда ты его покоряешь, отводишь куда-то в сторону...

И не только в тот раз, когда Андрей говорил о торице предусмотренной, но и на другой, и еще на следующий день было так. Она надолго и как-то неожиданно легко и просто забывала о себе. Работала до изнеможения, а себя не чувствовала.

Должно быть, так нередко бывает в жизни — это новое и большое, что стало ей известно, вдруг показало себя в пустяковом и даже комическом случае: она не заметила, как натерла огромную мозоль на ноге, нога покраснела, распухла.

Она вспомнила, что когда еще в лагере на планерке объявила о своем желании пойти в маршрут с Андреем, тогда же пригрозила ему: «Нарочно натру себе мозоль, и ты будешь со мной нянчиться. Будешь водить меня по лесу под ручку, а я буду виснуть у тебя на шее!» А тут — на самом деле так случилось, и Андрей вел ее то под руку, то она опиралась на его плечо.

Пришли к избушке объездчика, започевали.

Андрей, видно, уже давно, с рассветом, — в лесу, плащ, на котором он спал, лежит в углу под окном. А она всем телом ощущает уют кровати и прячется от солнца под тоненьким одеяльцем: когда-то, должно быть, одеяльце было красным, но после многих стирок стало едва розовым.

«Что же все-таки с ней случилось почью? Возможно, о работе она думала во сне? Бокитет, типы леса, подрост, ярусность, растительные сообщества ее тревожили всю ночь, а потом — разбудили?»

Засмеялась: ладно, она согласна с тем, что работа могла ее занять на несколько дней, могла спасти ее от одиночества, которое прежде она всегда испытывала в лесу, но, чтобы еще и ночью она обо всяких там бонитетах думала, тревожилась — дудки! Такого с ней случиться не может. Она себя как-никак знает!

Припомнились еще и ночи в лесу.

Она не хотела о них вспоминать: как ясны были дни, так ночи были тревожны...

Казалось, в первую же ночь у костра она все, что можно было узнать, узнала о себе, все поняла. Поняла, какой милый человек Левушка Реутский, как она его любит и как будут они всегда-всегда вместе.

Прошли сутки — другие, снова настала ночь и, что же: снова она стала мучаться. Что же ее тревожило теперь?

Почему Андрей не обращает на нее ни малейшего внимания, — вот что ее мучало. Неужели она весь маршрут так и будет одна, одна и одна, и он тоже будет один, словно рядом с ним нет ее.

Рита всегда имела поклонников, даже два-три деда к ней весьма благоволили, во всяком случае, она знала, если бы только захотела, — тотчас вскружила бы им головы. Мало того, у нее женщины были поклонницами и девушки, а это побольше значит, чем деды и отцы семейства.

Но в нынешнем путешествии ей как будто что-то противостояло. Сначала Онежка отказалась от ее дружбы, которую она первая — первая! — предлагала. А ведь была ею очарована, со счастливой улыбкой оказывала ей одну услугу за другой. Сколько бы Рита ни разбрасывала вещи в палатке, Онежка их прибирала; сколько ни жаловалась по ночам на холод, Онежка все теплое для нее с себя снимала. И отказалась! Поразила Риту, привела в такое замешательство, что она, кажется, готова была прощения у курносой просить, сама толком не зная, из-за чего, почему! Иногда же в такую ненависть она впадала, что называла про себя Онежку «щеночком женского рода» и еще много оскорбительных названий для нее придумывала.

Это проходило — она в душе чуть ли не слезами заливалась.

Но все-таки до сих пор лишь один был такой случай, только один человек в экспедиции не принял ее дружбы. Все остальные ей внимали. Вершенков-старший, разговаривая с ней, брал на полтона выше, Лопарев — на полтона ниже. Рязанцев еще усиленнее пялил глаза под роговыми очками.

Вершенков-младший странно вел себя с ней — угрюмее становился, грубее, злословил больше.

Все это в разное время она по-разному принимала. Все-таки подозревала, что и он тоже поддается ее обаянию, и только, как может, противится ему. В самой глубине души не-

дозревала, даже уверена была в этом. Потому она и в маршрут с ним пошла; потому и боялась его сначала на каждом шагу; потому и Реутский стал ей так мил, близок, дорог. Иначе, какой смысл ей было с Андреем идти, ему досаждать своим присутствием? Иначе, чего ей было его бояться, зачем у Лёвнушки мысленно искать защиты от него?

Прошел день в работе, прошла ночь — другая в раздумьях. И Рита подумала о себе: «Ты для него — ничто. Пустой звук... Нуль!»

А ей невыносимо трудно было представить себя нулем. Мукой это было, истязанием. Даже спокойного отношения к себе она никогда ни от кого не ждала. Ей казалось, что ею все должны увлекаться, а если кто не увлекается, — тот ненавидит. Ненавидит за то, что боится ею увлечься. Но вот она стала вдруг нулем!

Еще — «кукла» — Андрей про себя обязательно ее так называл! Может быть, «лучеглазая кукла». Потом: идиотка, «свинкс», обезьяна пино-пино! Ужасно вдруг понять, что человек так о тебе думает, в то время, как ты до смерти боялась, что он не сумеет соладать с собой, со своей страстью, и где-нибудь на тропе, у лохматого камня это прорвется! Ужас — лежать ночью на пихтовых ветвях, прогретых костром, рядом с человеком, который вот так о тебе думал, а потом взял и спокойно уснул! Наплевать ему на тебя, он вообще никак не хочет о тебе думать, даже очень плохо. Нуль!

И это не все: они вернутся в лагерь, и все увидят, что Андрей еще больше к ней равнодушен, чем раньше, что он ее действительно презирает. Рязанцев первым поймет и улыбнется. Для него все равно, что понять, лишь бы понять, а потом — улыбнуться. Лопарев увидит, крикнет, словно скажет: «Ясно!» Онежка увидит и приласкает ее. Она-то знает, как Рита отзывалась об Андрюше! Реутский увидит... «напрасно я боялся отпускать ее с Андреем. Это только мне она сумела вскружить голову! Андрюшка — ухом не повел»...

Возненавидеть бы этого парня так же, как он ее ненавидит и презирает, и вернуться в лагерь врагами. Тогда — квиты!

Пыталась. Чего-то не хватает для настоящей, лютой зависти к нему. Лежала ночью, глядела в звездное небо и призвала страстно на помощь свое «это». «Это», которое никогда, ни в чем ей не отказывало. Которое она одна имела во всем свете и больше — никто.

А «это» вдруг спросило: «Скажи, что я такое?» Вопрос она ощущала всегда, всю жизнь, как себя помнила, он следовал за ней, словно отдаленная тень, но никогда-никогда она не позволила себе хотя бы мысленно вопрос произнести... Так вот, где он ее настиг, этот вопрос, — в лесу, во тьме, когда она прислушивалась к дыханию больного, неуклюжего, неказистого, совсем почти незнакомого парня, которого она так хотела возме-

навидеть, а вместо этого оправдывалась перед ним, убеждала его молча, но горячо в том, что она — красивая и умная, а не безобразная и глупая! Что она не нуль!

Как она ждала в ту ночь рассвета, утреннего солнца, как ждала! Но не дождалась — тихо-тихо встала, раздула угли в костре, при свете пламени пыталась разглядеть себя в зеркальце.

Плохо было видно, искаженными были глаза, рот, все лицо, но все равно немного помогло. — уснула до утра.

День — от зари до зари — был, как одно мгновение.

Трудно было успевать за Андреем в лесу, ходил он быстро и будто сам не замечал, что ходит, прыгает с кочки на кочку, с камня на камень, продирается сквозь чащу. Трудно было настолько, что к вечеру ей казалось, будто только одна, последняя, крохотная капля сил у нее еще оставалась, капля эта вот-вот иссякнет.

А все-таки день имел начало и конец имел, поэтому не был страшен; усталости, даже изнеможения, она желала, была им рада, потому что за работой теперь не приходило ни одной мысли о самой себе.

Бесконечно длинной была для нее короткая летняя ночь. Снова и снова все тоже и еще тысяча вопросов к самой себе.

«Вдруг Онежка, и Андрей — это самые хорошие, самые сильные люди и они-то тебя отвергают?»

«Вдруг — нет у тебя никакого «это»?»

Вдруг кто-то у тебя спросит: «Ты — добра? Ласкова? Деловита? Скромна? За что ты до сих пор так любила свое «это»?»

И за всю ночь — ни одного ответа. Нуль...

Но вот вчера она уснула в избе лесника с каким-то добрым, радостным чувством и от этого же чувства проснулась сегодня... Что это было?

Она уже знала: нужно уметь дорожить радостными чувствами, если они к тебе приходят. Убеждала себя: «Не виноват тот, к кому радость не приходит, виноват — кто сам проходит мимо радостей. Тебе хорошо — радуйся! И все! Может быть, это от яркого солнца радостно, а может быть, и от самой себя...»

День был светлым, ясным, он, казалось, тоже шептал: «Не торопись — все вспомнишь... Вспомнишь скоро...»

И она, не торопясь, убрала постель и Андреев ялац с полу, на котором он спал ночью, переменяла примочку на ноге. Опухоль стала меньше, не такой, как была вчера, только при-трагиваться к ней все еще больно. Можно и совсем не при-трагиваться, но рука так и тянулась сама: почесать, ощупать, что там такое на ноге.

Умылась.

Во дворе, около летней печки, хлопотала женщина. Пожилая...

Но движениями, озабоченностью, с которой она все делала, — она сразу же напомнила Рите Онежку.

Рита улыбнулась... Подумала, что даже много лет спустя воспоминания об Онежке будут обязательно вызывать у нее вот такую же улыбку, которую невольно вызывают люди очень простые и даже незадачливые.

— Потеряла чего?

Это женщина заметила рассеянность на лице Риты.

— Нет... Ничего.

Рита присела на крылечке.

Прямо со двора поднимались в высокое небо сосны, и еще одна небольшая ель разбросала свои ветви. В тени сосен много что было: эта ель, поленица дроз. груда досок... Бродили в тени белые-белые курицы, и розовые поросята лежали кверху брюшками.

Под ветвями ели земля покрыта была слоем коричневой хвои, по хвое разбросаны продолговатые шишки. Ель, казалось, пришла во двор совсем недавно со своим кусочком леса и скоро снова уйдет в лес... Ель понравилась Рите.

— Ну, ежели так, то завтракать, — сказала женщина. — Мужиков — и своего и твоего — кормила чуть свет, вместе в лес пошли. Сама-то заморилась, ожидавши...

Женщина сказала: «своего», «твоего» с сильным ударением на «е», но внимание Риты не это привлекло.

— Ждали? Кого? — спросила она.

— Да ведь тебя...

— Зачем?

Хозяйка выпрямилась, не торопясь вытерла руки о передник, на голове поправила косынку, приготовилась к разговору.

— Не знаешь? Женщины-то в лесу — вприглядку. По зимнику еще проезжали тут муж с женой. Три дня жили. С той поры женщины не видела, с марта. И то была — одно звание, что женщина...

— Это как?

— Бездетная. Немолодая, а бездетная. С мужиком, а для чего, объяснить не знает как... Мужиков редкую неделю нет. И два, и три раза на неделе ючают летом. Пойдут осенью белковать — полна изба их будет, а женщины — вприглядку.

— Привнесла картошку в огромной чашке, сметану, самовар поставила прямо на землю, рядом с дощатым столиком под сосной и сказала: «Ну, вот. Садись. Трава, примочка помогла ли? Не садит ли ногу?»

— Помогла...

Сели за стол, и хозяйка, не спуская с Риты внимательно-жадных глаз, говорила:

— Мы до прошлого году лето — в лесу, а с первыми санями — в деревню. Нынешний год — в лесу безвыездно. Истосковались. Мужики, они как? Они про газетку, про спутник, про бел...

ку — с ними каждое дело у тебя в курсе. А об жизни? Об жизни — ни слова!

— Ни слова?

— Одного не дожدهшься! Хотя бы мой... Приедет из деревни, спросишь: «Как там люди-то живут?» — «А что делается твоим людям, — живут!» Месяц проходит. Он: «Сватья тебе кланялась. Приветы пересылала. Сына в армию справляет». Ладно так-то. А то меня же спрашивает: «То ли Верка Беклишева сошлась обратно со своим, то ли уехала от его в Бийск?» «Сошлась?! Уехала? Не то она расходилась?!» «А не то я тебе не говорил? Старуха-то, Веркина мать, их еще к празднику развела, по отдельности май справляли!» Так они живут, мужчины, жизнь вроде их не касается, одни дела. О своей жизни слова путного у мужика нет: «ничего» да «помаленьку» — это он о себе знает. Как живет — у жены спрашивай! Понятно ли, большеглазая? — Улыбнулась: — Нет, не было еще на тебя бабьего веку!

Молоко, горячая картошка, крупная каменная соль с пыльной горчинкой... И в словах женщины как будто тоже этот привкус. Она называла Риту «девкой», и Рита отчего-то смущалась при этом всякий раз... Не обижалась, а только смущалась.

Ничего этого никогда в ее жизни не было и не могло быть: она росла на больших стройках, в больших городах. А чувство такое, будто повторяется минувшее... Почему? Откуда?

Ответила себе: «Женщина передо мной...»

В детстве, всякий раз, когда к матери приходили приятельницы и усаживались в спальне с рукодельем, — маленькая черноглазая девочка хотела обязательно быть вместе с ними. И женщины на какие-то минуты в самом деле считали девочку как бы наравне с собой, восторгались ее глазками, косичками, голоском и платицами, ее смышленным участием в их беседе, а потом вдруг выпроваживали прочь... Как девочку ранили при этом глубоко, как надолго — никто из тех женщин не замечал.

Теперь женщина нуждалась в ней. Ждала ее, пока она прогнется. С нетерпением ждала!

Совершилось то, что должно было совершиться, чего она желала с тех самых пор, как подросла настолько, что женщины стали выдворять ее из материнской комнаты, когда хотели поговорить между собой. Теперь она слушала и слушала, а женщина рассказывала. Два мужа у нее было... Первый вернулся с войны офицером, не один — привез с собой фронтовую жену... Второй вдовцом был и, слава богу, никого не пришлось ей разводить, и сама не осталась одинокой при живом муже... Теперь дети у них — ее, его и общие, но дети в лесу не живут, учатся в школах, в техникумах, работают. Обзавелись уже своими семьями, самый младший учился в техникуме, в Бийске, и начал ухаживать за девушкой...

Потом — очень жалела женщина — почему у нее не родился еще один. Чтобы был теперь при ней... Муж — по лесному и охотничьему делу, неделями дома не бывает. Очень жалко нет у нее маленького...

Муж — человек хороший, справедливый. И на первого она тоже не жалуется.. Жалуется на себя — почему нет маленького. Маленького нет и людей кругом нет, и нет забот... А ей трудно без забот... Чтобы было легче, день-деньской думает о старших детях. О знакомых.

И женщина заговорила о своих знакомых, словно знакомые эти были у них с Ритой общие, давнишние, очень близкие.

Солнце поднималось над головой все выше, солнечные лучи больше и больше наполняли Риту теплом ясного, безоблачного дня. Словно растворить ее хотело в своих лучах. В этом ласковом тепле она думала о том, как совершилось ее желание, возникшее давно-давно, в раннем детстве, желание, которое забывалось иногда, но никогда ее не покидало.

Она вспомнила мать, вспомнила тетю «Что такое хорошо». Им тоже обязательно нужны были чьи-то «драмы», нужно было знать, кто с кем и как живет... И для них «знакомые» были чуть ли не то же, что весь белый свет.

Они о знакомых без конца друг с другом говорили, и когда Рита стала уже студенткой горного института и ей всегда или почти всегда стали разрешать присутствовать и даже принимать участие в таких беседах, — она всякий раз переживала какое-то оцепенение от слов, которые там произносились.

Удивительно похожи были слова и целые фразы женщин, собиравшихся в материнской комнате, на все то, что слышала Рита сейчас, сидя за дощатым столом с тени сосен. И похожи и непохожи. Здесь слова женщины звучали робко, видимо, оттого, что не в силах были выразить ее желание забот о ком-нибудь, всю ту ласку, которая в ее глазах светилась... Маленького нужно было ей, уже пожилой. Лицо у нее было в морщинах... От забот? Или потому, что ей забот не хватало, она томилась по ним?

Там слова одно перед другим словно старались выслужиться, друг на друга карабкались, чтобы быть повыше. Здесь они были словно молчаливыми.

Там было то, что не так уж редко называется сплетнями. Здесь...

Рита не знала, как называется то, что здесь происходило, называется ли оно вообще каким-нибудь словом. Знала только, что сколько раз она ни слушала женщин в материнской комнате и в гостиной тети «Что такое хорошо», когда там отсутствовал тетин муж-логик, она ни разу не почувствовала, будто входит в тот необъяснимо-желанный мир женщин, в который она стремилась с самого детства.

Ей там было приятно, с теми женщинами у нее голова чуть-

чуть кружилась, а чувства этого все-таки не было никогда. Только думала, будто оно к ней приходило тогда, на самом же деле оно пришло впервые вот сейчас, вот здесь.

Та девушка была совсем не похожа на нее, на Риту Плонскую, которая сидела сейчас за дощатым столиком, пила молоко, ела горячую картошку, посыпанную крупной горьковатой солью, слушала женщину, понимая ее самой глубиной души, а на себя, на то, как она одета, как выглядит — давно-давно уже совершенно не обращает внимания.

Выглядела же она очень странно: широкополая войлочная шляпа, какие носят на курортах, потом — белая майка-безрукавка, темные шаровары. На одной ноге — потрепанная тапочка, другая — обмотана белой тряпичной, а тряпичная перехвачена бечевкой.

И что же — она этого испугалась? Ничуть! Правда, она захотела переодеться, но как? Ей вдруг страшно захотелось одеть на себя темно-зеленую ситцевую кофту своей хозяйки, рукава на кофте засучить повыше и пуговицы расстегнуть все до одной, покуда пет никого из мужчин, юбку одеть ее и подол также подоткнуть, а обуться в сапоги на босу ногу и косыночкой повязаться. Даже такой же полной ей захотелось быть и такой же сильной...

И еще она подумала:

«То, от чего я проснулась сегодня утром, знает эта женщина!..» Посидела некоторое время молча, подумала... «Нужно, чтобы женщина заговорила обо мне... Тогда я обо всем догадаюсь!»

А если Рита хотела, чтобы говорили о ней, это ей всегда удавалось. И она сказала задумчиво:

— Вот и мне — тоже надо бабий век прожить. — Сама удивилась: «Какие слова она способна произносить!»

Но еще больше удивилась, когда женщина ответила ей:

— Проживешь! Мужик у тебя сурьезный.

— Какой мужик?!

— А вот такой — сурьезный. Строгий очень!

Когда Рита поняла, что женщина об Андрюше, — о ней и об Андрюше, — она долго ничего не могла сказать, только таращила глаза. Потом ей смешно стало и, прежде чем свою собеседницу разубеждать, она спросила:

— Так, значит, строгий? А почему же это хорошо?

— А то — плохо?

— Конечно же — плохо.

— Много ли понимаешь?! Строгий — он сам вольничать не станет и тебе воли не даст.

Снова Рита засмеялась:

— Так почему же это хорошо?

Женщина ответила не сразу, сначала подумала:

— Тебе, девка, дать волю — ты сама себе рада не будешь.

Точно — не будешь! Не говоря об других. Тебе строгого и нужно. Верно говорят: кто для кого родится, тот в того и влюбится!

— Выдумываете? Правда, нарочно выдумываете?

— Кого выдумывать? Тебя? А зачем? Ты — без выдумки вся, как есть, на виду. Вот она — ты!

Показала на Риту пальцем.

— Почему вы знаете? Вовсе вы меня не за ту принимаете! Ошибаетесь во мне. Честное слово! Совсем я не вся здесь! Совсем не вся.

— Ну, где ж тебе признаться! Молодая, норовистая... Глазища-то! В кино такие показывают. Чистотелая! Одно слово — прелесть! Вот время и не вышло об себе отмечаться.

— А выйдет?

— Само собой...

— Когда же? Скоро?

— Тебе видней.

— А по-моему — не выйдет. Никогда!

— Выйдет, девка! Ребятишек народишь — мечты на них обернутся... Это пока ты замужняя девка, не более того... Вот по-девичьи и не разучилась об себе думать. А мужик у тебя строгий, руководительный мужик. Он тебе не позволит долгое время в замужних девках быть. Такие — семью уважают... Чтобы все было прочно-крепко. Мой — тоже строгий, без баловства... Моего ты и не поглядела: пришел ночью, а чуть свет — снова в лес... Ночью-то не стали вас, молодых, с постели стягивать... Пожалели...

Так вот что было ночью! Вот что было!

В кухне дверь хлопнула, раздались тяжелые шаги мужчины. Сильный, несдержанный голос тут же спросил:

— Ты что — в гостях, или дома у себя?

Женщина ответила что-то.

— Кто такие? Откуда?

Снова шепот... Шепот почти неслышный, пугливо-нежный и волнующий чем-то.

— Не ждала, что горлицу заняла ими?

Слов женщины совсем не слышно стало, но волнение ее, нежность слышались без слов... Потом мужчина вздохнул громко и негромко сказал:

— Как раз молодым-то здесь постелить, а себе в горнице! У молодых, у них еще сколько впереди.

Вот что было ночью! Вот каким был потом у Риты сон — будто она все время слушала этот разговор, но только слушала не слова мужчины и даже не шепот женщины, а то волнение, то чувство, которым шепот ее был переполнен.

Вот что ее разбудило утром, какое ощущение!

Вот что, проснувшись, она никак не могла вспомнить! Вот что теперь вспомнила...

Хозяйка сидела по-прежнему напротив за столиком, при-

стально вглядывалась в ее лицо все с тем же добрым участием, все та же грусть была в ее глазах и та же строгость к самой себе. Не знала, о чем вспомнила Рита.

Так могло продолжаться еще несколько мгновений, не больше. И в самом деле, недоумение возникло в глазах женщины, сначала в самых краешках глаз, легкое, едва заметное, потом оно, это недоумение, стало единственным выражением всего лица, и движение руки, когда она сдвинула косынку повыше, тоже было недоуменным.

Она хотела, но не решалась что-то у Риты спросить, о чем-то почти догадалась, но не догадалась ни о чем.

Рита встала из-за стола.

Стоя хотела сказать женщине все то, о чем та не догадалась, хотела сказать уже от крыльца, хотела из окна горницы крикнуть ей во двор. Не крикнула.

Легла на кровать и подумала: «А если Андрей так сказал в этом доме? Может быть, так действительно нужно было сказать, чтобы их приняли здесь? Так проще и удобнее было — солгать один раз и все сразу объяснить хозяйке? Может быть, Андрей тоже слышал ночью хозяина, наверно, даже слышал — он всегда спит чутко, настороженно...»

Когда Рита была с Андреем в лесу, она думала, что стоит им из леса выйти, перестать быть только вдвоем — все тревоги, в которые вверг ее этот нескладный, лопухий парень, этот Челкаш, враз рассеются и никогда больше к ней не вернуться!

Но вот он что устроил, вот в какое положение ее поставил! Как ей быть теперь? Что делать? А вдруг — это игра с его стороны? Вдруг он это нарочно сделал, ее подразнить, в глупое положение ее захотел поставить?

Лишь только догадка пришла к ней, она преобразилась, воспряла вся.

Если он игру затеял, если даже нечаянно, но все-таки и ее заставил играть — пусть на себя пеняет! Па-а-жалуйста! И еще раз па-а-жалуйста!

Она присела на кровати, шляпу повертела в руках. Косынки не было — она полотенцем повязала голову, на лоб и сбоку, над левым ухом выпустила концы, длинные и небрежные.

Юбки у нее тоже с собой не было, она еще другое полотенце повязала вокруг талии поверх шаровар. Кофты не было — была майка-безрукавка и теплая тужурка. — она решила, что это, пожалуй, к лучшему: так майку на себе одернула, что стали видны и другие принадлежности ее туалета.

Конечно, посмотрелась в зеркало — сначала в свое, маленькое, потом в хозяйское.

Нашла свой новый стиль приемлемым для данного момента. Подумала: «Стряпуха, которая для гостей тети «Что такое хорошо» готовит пирожки! Когда за плечами есть производственный опыт,— это хорошо!» Спела какую-то песенку, которую.

кетати, сама не слушала — занята была своей внешностью. Припадая на больную ногу, сделала несколько па... Представилось ей, будто она польку танцует с каким-то приятным партнером: тра-та-та-та, тра-та-та...

Вспомнила, что совсем-совсем не напрасно во сне нынче ей было как-то хорошо, очень приятно. И проснуться тоже было приятно, и провести утро со своей хозяйкой — тоже. А больше она ни о чем уже не думала. Не хотела даже подумать, как она встретит Андрея, когда он вернется из леса: какими словами, какими словами, какими жестами. Само собой все должно было получиться гораздо лучше, чем по заранее обдуманному плану.

Решив так, отправилась к хозяйке, помогала ей мыть поросят, чистила песком страшно закопченный, тяжеленный чулук, куриц училась шипать.

И снова не знала, что она — сама, что — не сама. Сказал бы ей кто-нибудь, будто никогда она не выступала с танцами в детской самодеятельности, никогда не валялась на маминной тахте, никогда не училась ни в горном институте, ни в университете, что никогда она не знала Левушку Реутского, что все это было выдумкой, а действительной ее жизнью был вот этот лес, эта изба в лесу, вот этих поросят и этих куриц она всю жизнь мыла и кормила — она, верно; поверила бы. Что она всегда была женщиной, хозяйкой, а девушкой — никогда, тоже поверила бы! Обязательно! Все сегодня с самого утра так шло, чтобы поверить этому.

Нынешний сон и утро нынешнего дня, когда они сидели вдвоем за дощатым столиком в тени высоких сосен, ели горячую картошку с холодным молоком, посыпали картошку крупной горьковатой солью, когда Рита видела себя в зеленой расстегнутой кофте, в косынке, в сапогах на босу ногу — все это, чем дальше, тем больше и больше казалось ей исполнением чего-то давным-давно известного, задуманного.

Нынешний день она, оказывается, без труда могла представить за целый год, за десять лет своей жизни — будто вот такая, какая сейчас, она давно-давно, так что из памяти почти совсем изгладились и почти никаких воспоминаний не оставили те годы, в которые она была красивой, капризной и, кажется, непугавой девчонкой. Так, что-то смутное от тех лет осталось и оставалось чем дальше, тем все меньше... Какие-то представления не о своей, а о чужой, кем-то рассказанной жизни.

И когда из леса вернулся Андрюша, ей тоже показалось, будто он не в первый раз входит вот в эту калитку, и вот так сбрасывает тяжелый рюкзак у крыльца и топор вынимает из-за пояса, небрежным, но точным движением вонзает его в старую колоду — все это уже много-много раз было у нее на глазах.

И она его не в первый раз встречает, не в первый, а будто бы в тысячный раз спрашивает: «Ну как? Притомился?» Его

удивленный взгляд так ясно ощущает на своем лице, на всей своей фигуре тоже не в первый раз.

Поглядела на него внимательно и снисходительно, так, как хозяйка утром на нее глядела, а потом вдруг сменила ласковый тон на строгий:

— Наколи-ка быстренько дровишек! Помельче. Не мешкай!

Он всегда для костра рубил хворост как-то очень ловко, одной рукой и, не глядя на топор, а сейчас поленца были у него одно к одному... Правой он сложил их на левую руку, согнутую в локте, а потом охапку отнес к печурке и бросил там на землю.

Она рассердилась:

— Чего разбросал-то! Растопи печурку. Поживее!

И он снова выполнил приказание, а тогда она велела ему сходить на ручей «по воду», а потом — загнать поросят в пригончик.

Недоумение постепенно исчезало с его лица. Может быть, он понял и принял ее игру, может быть, у него и не было другого выхода, если он действительно сказал хозяйке то, чего на самом деле нет. Но теперь ни то, ни другое уже не имело для Риты никакого значения. Теперь она с упоением выдумывала для него все новые и новые поручения, а он беспрекословно выполнял их, двигаясь угловато, неуклюже, а работая быстро. Он покорялся всем ее распоряжениям совсем свободно, легко, — никто и никогда так ей не покорялся. Никогда у нее еще не было такого ощущения своей власти. Это ее возбудило, она все больше погружалась в свою роль и смогла лишь слабо улыбнуться хозяйке, когда та сказала:

— Не жалеешь мужика-то. Ах, не жалеешь!

Но даже эту слабую улыбку она мигом спрятала и сердито велела Андрюше поставить на место подворотню, чтобы курицы не убежали со двора. Он и это исполнил.

Чем дальше, тем больше ей нужно было. Потому нужно было, что она чувствовала: где-то терпение его иссякнет, легкость, с которой он все, что она говорит, исполняет, — исчезнет, он рывкнет на нее, чего доброго, возьмет и толкнет. И чем более несдержанным он рисовался ей, тем сильнее и скорее она хотела этого добиться.

Если бы этого не произошло — она была бы убита самым настоящим отчаянием. Она вся ждала его вспышки, вся-вся — и та, которая сегодня с утра чувствовала себя хозяйкой, женщиной и хлопотливо, без усталости работала по дому, и та, которая была очень красивой, вздорной девчонкой, пережившей в лесу унижительное безразличие к себе этого парня.

Андрей поставил подворотню в пазы, пошел и сел на крыльцо, на самую верхнюю ступеньку, где утром Рита сидела.

Она посмотрела на него: «Сейчас он потеряет спокойствие. Сию секунду!» Лихорадочно стала придумывать, что бы такое

еще заставить его сделать, но придумать быстро не могла — ощущение близости его вспышки ей мешало.

А он глядел на нее потемневшими коричневыми глазами, весь был красный и когда она уже приоткрыла рот, чтобы сказать: «А ну-ка сбегай в комнату за моей шляпой!», он опередил ее на какое-то мгновение, вытянул ногу вперед и приказал:

— А ну-ка сними сапог! — помолчал и повторил: — А ну!

Она никак не могла себе представить, что за этими словами не кроется рокового, поразительного смысла, что речь идет просто-напросто о сапоге и ни о чем больше. Стояла и повторяла и повторяла про себя: «Сними сапог! Сними сапог!».

Он оперся на ступень одной ногой, другую еще дальше вытянул и вдруг крикнул грубо, угрожающе: — Кому говорят?!

Руки у нее страшно дрожали, когда она стаскивала с него сапог. Сняла один — он другую ногу вытянул. Быстро встал, босой, с сапогами и портянками в руках, вышел в дом.

— Правильный мужик! Ты забывайся, да не очень! — Это хозяйка сказала Рите и еще погладила ее жесткой рукой по голове.

Рита же не знала, что случилось? Была это ее победа или ее поражение? Было это горько или радостно? Было это совсем незначительным каким-то случаем или огромным событием?

Кажется, это было чем-то гораздо большим, чем победа или поражение, чем горечь или радость, чем самое большое событие, которое когда-либо в ее жизни происходило. Что же это все-таки было?

Бросилась за Андреем в комнату. Он лежал в углу, на своем дождевике, лицом к стене. Она нагнулась к нему, вцепилась обеими руками ему в голову и поцеловала в губы.

Уже в дверях услышала: — Дурная!

«Дурная» — это плохая, скверная, и она ощутила всю дурность свою, всю скверность, скверность даже своей красоты, которая одна была для нее вечно возвышенной и ни в чем непоколебимой; «дурная» — это глупая, и она увидела, какая же она на самом деле глупая, почувствовала, сколько же в ней этой самой глупости, может быть, больше всего остального в ней глупости было; «дурная» — это взбалмошная, непутевая, бросающаяся с радостью в какую-то бездну, к которой никто не приближался, а она с радостью туда стремится; «дурная» — в этом послышалось ей ласковое недоумение, что-то радостно-испуганное.

Хозяйке она сказала, что будет спать сегодня на чердаке. «На воле», — так она сказала хозяйке, ее же словами.

— Да нешто поссорились с мужиком-то! — охнула женщина, а потом сказала вдруг: — Ты, девка, видать, дурная!

ТЫ ОДИН У МЕНЯ, МОЙ ЗЕМНОЙ УГОЛОК

Ты один у меня, мой земной уголок,
С крутоярами синими, с тихими плесами.
В эту осень к тебе я добраться не смогу
Ни пешком с батошкой, никакими колесами.
У тебя там давно ежевичник отцвел,
Одуванчик-растрепыш осыпался на воду.
Обо мне там березы лопочут у сел,
Обо мне там кудлатые плачут взаправду?
Лишь закрою глаза — и пошло, и пошло.
Обступают и треплют намокшими ветками,
И роса по одежде моей тяжело
Ударяется каплями крупными, редкими.
Лишь закрою глаза — и навстречу большак,
Большаком-кушаком полстепи перехвачено.
Без меня нынче шастает ветер-степняк,
Без меня на токах все зерно пролопачено.
Лишь закрою глаза — и снуют воробьи
В конопляниках рыжих у скирд скособоченных
И порхают, кружа, будто годы мои,
Будто годы, забытые там, на обочинах.
Их не взять — не поднять, не засунуть в мешок,
Оттого и дорожке становится прежнее.
Ты один у меня, мой земной уголок,
Для тебя уберег я все самое нежное.
Ты один у меня, мой земной уголок,
Где бы я ни плутал, а по правилу старому
Ты один у меня на распутьи дорог,
Все четыре дороги — к тебе, крутоярому.
Я, наверно, не скоро домой ворочусь,
Я приеду тогда, когда в крике и зуде
Одуревший от солнца испачканный гусь
Искушается в первой весенней запруде.
Из вагона я выйду, зажмурюсь на миг.
Захолонуло сердце. Стою. Ну чего ж я?

Геннадий Володин

КОЛОСОК

Вот он, посмотрите,
откустившись,
Выструнился и отяжелел.
Кажется, недавно,
Кажется, недавно,
Он зерном лежал в сырой земле.
А потом побегом бледноватым
Потянулся к свету головой.
В эти дни мукой суперфосфата
Я слегка подкармливал его.
Вырос он.
И зря ты, ветер, тонко
Свищешь,
Пышешь жаром на бегу:
Колосок,
Как малого ребенка,
Я от всех исзгод уберегу!

Дм. Гоосен

КАРТИНА

Нити,
 слепящие нити летают.
Солнце —
 запуталось в паутине.
Осень —
 художница молодая —
Самую первую пишет картину.
Путает краски.
 Ей некогда мешкать.
Тут ветер
 пристал с надоедливой лаской.
И осень, волнуясь,
 в отчаянной спешке
С кисти роняет
 желтые кляксы.
Она написала березу —
 взглянь-ка —
Желтью лимонной
 под бледное синькой,
Чуть потемневший листок земляники,
Дрожащую
 в красном накале
 осину.
Лесу
 какая-то скрытность присуща.
...С наивностью милой,
 нисколько не прячься.
Тихо шепча,
 обнажается пуша.
Хрупкость какая,
 какая прозрачность!

Н. Кожевников

25 ДНЕЙ НА ЦЕЛИНЕ

(ОЧЕРК)

НАС УКРАЛИ

Наша группа студентов Алтайского политехнического едет на уборку урожая в целинный Романовский совхоз.

На улице нас ждали автомашины. Секретарь комсомольской организации совхоза, приехавший за студентами, обрадованно оглядел нас и велел занимать места в кузовах. Я и еще несколько ребят замешкались. Нам не хватило мест. Мы пустились на поиски свободной автомашины.

— В Романовский совхоз едете? — спросили мы шофера, возившегося под машиной.

— Нет... То есть да, — небольшие глазки шофера плутовато взглянули на нас. — Точно, в Романовский. Садитесь!

Мы не заметили заминки шофера. Мы очень торопились. Расселись и вскоре тронулись в дорогу. Серая асфальтовая лента стремительно неслась навстречу, свистел ветер, солнце, кувыряясь в облаках, тоже летело вместе с нами.

С тракта грузовик свернул на проселочную дорогу. Мы заметили, что шофер у нас опытный. Он ловко объезжал все рытвины и ухабы, притормаживал на спусках — словом, вез очень аккуратно. Проезжая какое-то село, он остановился у столовой и отправил нас кушать. В сумерки на западе появились мрачные тучи. Они всплывали и недовольно ворчали, предвещая недоброе. Заботливый шофер велел набрать в кузов соломы и прикрыться ею на случай дождя. Мы так и сделали. С наступлением темноты солома сверху зашуршала: пошел дождь. Мы же были в тепле и безопасности и дивились заботе шофера о нас.

В полночь впереди замелькали огни большого села, послышался говор репродуктора, лай собак. Грузовик остановился.

— Приехали, — сообщил шофер. — Теперь мы, как говорится, дома.

Некоторые из ребят бывали раньше в совхозе и стали громко высказывать сомнение, что мы прибыли не туда, куда следовало.

— Так это не совхоз, — отозвался шофер. — Это колхоз имени Мамонтова. Вот контора. Переночуйте сегодня здесь.

— Как колхоз?! — изумились мы разом. — Ведь как направили в совхоз. Туда увезли наши списки. А потом мы нигде не желаем работать, кроме, как в совхозе.

— Ничего не знаю, — ухмыльнулся шофер. — Машина колхозная, и я вас дальше не повезу.

И подумать только, мы восхищались этим человеком. Андрей Тимофеев, обычно спокойный, тут не выдержал.

— Вы нас украли! — крикнул он. — Мы в милицию позвоним. Ребята не слазьте! Пусть везет в совхоз. Милиция заставит.

— Милиция здесь ни при чем, — равнодушно буркнул шофер. — Переночуете в конторе. Утром придет председатель, разберетесь с ним. И если не согласитесь, отвезу в совхоз. Это недалеко. Я даже машину здесь оставляю.

Делать нечего, а спорить — бесполезно. Мы взяли свои вещи и стали перебираться в контору.

СТОРОЖ АГИТИРУЕТ

Мы решили ночевать в коридоре на лавках. Там горел электрический свет и было сравнительно тепло. Стали ужинать, извлекая из вещевых мешков и чемоданов, у кого что нашлось, и сваливая все в общую кучу. Вдруг дверь открылась. На пороге появился старик с белой курчавой бородкой, в шапке, замасленной телогрейке и с суковатой палкой в руке.

— Здоровы были.

Мы ответили на приветствие. Старик неторопливо прошел по коридору, окинул нас пытливым взглядом из-под серых лохматых бровей.

— Кто такие будете?

— Мы на уборку приехали, — сказал Толя Белогуров.

— А я сторож конторский. Кириллой зовут. Чего это вы, ребята, здесь расположились? Грязно тут и холодно к утру прошибет: осень во дворе. Сейчас я вам открою кабинет председателя. Там диваны есть и теплее. Перебирайтесь туда.

Ужинать мы кончали в кабинете председателя. Там было намного уютней. Мы расположились на трех мягких диванах. Дед Кирилл сидел за столом на председательском месте, ошупывал нас цепким взглядом. Поглаживая бороду, спросил, долго ли мы приехали и, узнав, что нам надо в совхоз, а шофер завез сюда, сокрушенно покачал головой.

— Ай-ай! Какое безобразие. Завтра разберутся. Обязательно. Если в совхоз, так отвезут туда. Чтобы по справедливости было, — он, лукаво шурясь, помял бороду. — Хотя, если шикнуть, то вам все равно, где работать, лишь бы польза казна была.

— Эх, куда хватили, дедушка! — не выдержал Толя Белогуров. Широкоплечий, высокий, он перегнулся через стол и стал похож на задиристого петуха. — Совхоз-то знаменитый, целинный. Там и работать одно удовольствие. Целина!.. Понимаете?

— А чего понимать. У нас, у самих-то, ее, целины этой, глазом не окинешь. Вот оно что! Да и целина наша, если хотите знать, получше совхозной будет.

Тут сторож незаметно перевел разговор на другую тему. Он говорил, что у них повсюду нехватка рабочих рук, что в них на трудодень всегда много дают, а потом как-то неожиданно сообщил, что в совхоз понаехало много рабочих из города и что их там даже не знают, куда девать.

— И техники там много, — продолжал старик. — Одних комбайнов 120 штук и всего прочего уйма. Не знаю, верю, нет ли, но говорят, что там многие без дела шляются.

Вдруг погас свет и тут же зажегся.

— Ишь подмигивает. Предупреждает. В час электростанция прекращает работу. Надо вам лампу принести.

Старик вышел.

— Хитрый! — определил Толя Белогуров. — Вы заметили, он нас агитирует.

Свет погас. Скрипнула дверь, сторож осторожно внес лампу и поставил ее на стол. В кабинете воцарился полумрак.

Чуть свет хитрый сторож вновь показался в кабинете председателя. Он подсунул нам свежий номер районной газеты. На первой странице газеты жирным шрифтом выделялась сводка уборки. Мы сразу увидели, что колхоз имени Мамонтова занимает предпоследнее место в районе. Дед Кирилл пояснил:

— Нехватка рабочих рук. В том вся беда. А в совхозе, скажут, их девять некуда. Многие без дела шатаются.

Вышли во двор умыться. Машины у конторы не было. Она как в воду канула. Теперь мы этому особенно не огорчились. Конечно, все, что говорил сторож насчет совхоза, мы не собирались принимать за чистую монету, но было ясно, что в колхозе в самом деле недостает людей. Кое-кто из ребят стал побко высказывать мысль, что можно и в колхозе поработать. А Андрей Тимофеев, еще вчера собиравшийся звонить в милицию, стал вдруг задумчивым и сказал, что мы сделаем лучше, если останемся в колхозе.

— В совхозе, пожалуй, без нас обойдутся, — заключил он.

НАШ НОВЫЙ ДОМ

Нас разделили на две группы — четыре человека, и я в их числе, будем работать в первой бригаде, остальные — во второй. Мы разыскали бригадира и спросили, что нам делать. Бригадир Михаил Шосток, высокий, загорелый до черноты, украинец, долго молча глядел в землю, потом в небо и, наконец, стал пристально всматриваться в каждого из нас. Осмотрел внимательно Николая Рубанова, тонкого, с черным волнистым чубом и упрямым подбородком, медленно перевел взгляд на Андрея Тимофеева, мрачноватого и на вид очень серьезного, и остановился на голубоглазом Толе Белогурове. Он еще раз бегло пробежал по нас глазами и сказал:

— Сейчас, хлопцы, придет машина. Поедем на полевой стан. Там будете жить.

Так мы будем жить вдали от деревни, среди бескрайних степей. Что может быть лучше этого. Мы были рады. Спустя некоторое время, мы уже неслись на грузовике проселочной дорогой навстречу трудностям полевой жизни. Горячий степной ветер хлестал в лицо, надувал пузырем рубашки.

— Поставим вас на копнители, — сказал Шосток, роясь в карманах.

Он дал нам по паре сочных яблоков и сказал, что они из собственного сада.

— У вас дома есть сад?

— Нет, у нас сад общий, колхозный.

В кузове звенели и подпрыгивали четверо вил с новыми черенками. Это для нас. С вилами нам, правда, редко, но все же приходилось иметь дело. Но на копнителе раньше работал только Толя. Мы его попросили рассказать о предстоящей работе. Толя сначала заважничал, но потом снизошел к нам и стал рассказывать, делая это так туманно и путанно, что мы ничего не поняли. Слушая Толины пояснения, бригадир посмеивался, но, не желая подрывать его авторитет, молчал.

Грузовик проскользнул сквозь полезашитную полосу, и мы увидели полевой стан — три аккуратных деревянных домика, воле которых выстроились в ряд жатки, плуги. Немного поодаль виднелась соломенная крыша тока, откуда доносился приглушенный расстоянием шум работы. Но на самом стане не было видно ни одного человека.

— Все на работе, — пояснил бригадир. — Лишних людей у нас нет.

Мы направились в крайний домик. Там аккуратно заправлены койки, чистый блестящий пол, плакаты, картины. Мы посмотрели на свои запыленные ботинки. Какой стыд. И как это мы не подумались у входа обмахнуть с них пыль?

— Вот ваши койки, — сказал бригадир. — Располагайтесь. Койки стояли у окон с солнечной стороны. Они были с пав-

цырной сеткой. Бригадир ушел. Мы привели в порядок постель, вещи и прилегли на койках. Приятно было покачиваться на упругой сетке, чувствовать себя уютно, удобно, как дома.

Вечерняя заря перекрасила окна в розовые цвета. Стали возвращаться с поля люди. Запыленные, загорелые, обветренные лица, крепкие плотные фигуры. Такими мы увидели механизаторов. Они шумно входили в комнату, здоровались. Многие подсаживались к нам поговорить. Спустя несколько минут, мы познакомились. Мы уже знали, что паренек, стоящий с кнутом у двери и удивленно рассматривающий нас, — это водовоз Вася, что чумазый юноша, что засыпает нас вопросами о жизни в городе, — тракторист Гриша Васюк, а старик, что попыхивает у печки трубкой, — горючезов Силыч. Нам было немного обидно, что они почему-то смотрят на нас, как на детей. То один, то другой сочувственно вздохнет и скажет:

— Ну, как вы тут будете жить? К работе нашей непривычные, к степи тоже.

Даже этот мальчишка-водовоз, который чуть не вдвое младше нас, и тот туда же.

— Придется вам хлебнуть горя, — сказал Вася, пряча глаза и хмурясь.

Наш разговор прервал женский голос.

— Ребята, ужинать.

В столовой повар, полная, с добрыми глазами женщина, тетя Фрося, как ее здесь все звали, накормила нас вкусным супом и жареной бараниной. Тетя Фрося, глядя на нас, тоже сочувственно вздыхала. Она спросила, что для нас брать в кладовой колхоза: масло, молоко, мед или сахар. Мы пожелали всего понемногу.

После ужина присели покурить на скамейку у столовой. Дверь была приоткрыта, и мы слышали, как за столом чей-то недовольный голос проворчал:

— Нахлебники приехали.

Потом голос тети Фроси:

— Ладно тебе. Они не виноваты, что их сюда заслали. Сами, небось, мучаются.

Когда ложились спать, Толя Белогуров сказал:

— Надо им показать, что студенты тоже умеют работать.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

Утро холодное, солнечное, росистое. На стане рокот моторов, лязг гусениц, шум и смех механизаторов — обычная суতোлка начала рабочего дня.

В бригаде не хватало копнильщиков. Мы добровольно вызвались работать на копнителях по одному, вместо двух.

— А вы справитесь? — спросил Штопок, глядя на нас в упор и удивляясь. Он, как и все, не ожидал от нас многого.

— Справимся!

Бригадир распределил нас по агрегатам. Николай Рубанов и я были направлены к комбайнеру Ивану Васильевичу Литвинову. Он управлял двумя комбайнами. Оба они подбирали в одной загонке. Значит, мы с Николаем будем работать вместе.

Трактора доставили нас в поле. Толя Белогуров вчера объяснял нам, в чем состоит работа копнильщика. Мы тогда не поняли. Поэтому я спросил штурвального, что мне делать. Работа оказалась простой. Нужно было ждать, когда копнитель заполнится соломой, затем нажать ногой на педаль, солома вывалится.

Агрегат двинулся. Николай и я стояли с той стороны копнителя, откуда дул ветер. Он сносил солому к противоположной стороне. Я решил, что удобнее будет раскладывать солому с обратной стороны, и на ходу перебежал туда. Плотная струя пыли, шелухи и мелкой соломы полетела мне в лицо, за ворот рубахи. Невозможно стало смотреть даже в очках, цельзя бы до дышать. Я отворачивался, прикрывался рукой и двигал вилами наугад. Можно было сбежать на прежнее место, но я решил стойко держаться до конца загонки. Кто-то, кажется штурвальный, кричал. Я в этом аду ничего не мог разобрать. Агрегат остановился.

— Перейди на другую сторону! — крикнул штурвальный.

— Не все ли равно, — ответил я и не узнал своего голоса.

— Задохнешься ведь!..

Это верно. Я едва держался на ногах. Я с усилием улыбнулся. Спокойно сказал:

— Можно и перейти. Мне все равно.

На противоположном мостике свежий порыв ветра окончательно привел меня в чувство. Я решил взглянуть в сторону Николая. Тому что! Он схватился за живот и помирает со смеху. Тоже мне друг. Копнители наполнились. Николай стал сбрасывать копну. Первую копну в своей жизни. Копна получилась, растянутой, разбросанной, совсем не похожей на другие копны в поле. Моя первая копна была аккуратной высокой. Вторая копна у Николая получилась опять никуда не годной. У меня же она была красивее первой. Я по-настоящему овладел искусством копнильщика.

Чувствовал себя на седьмом небе.

Комбайны остановились для разгрузки зерна. Я подошел к Николаю и стал хвастаться своими копнами. Николай ухмыльнулся, молча осмотрел оба копнителя и, поглаживая рукой волнистый чуб, подошел ко мне, наклонил голову и хитро прищурил глаза. Я по опыту знал, что если Николай делает так, значит он готовит для меня что-нибудь каверзное. Тут же я не обратил на это внимания. Николай предложил на один круг поменяться агрегатами. Я охотно согласился, надеясь лишний раз продемонстрировать свое мастерство.

Я занял место на копнителе Николая. Когда он наполнился, лихо нажал на педаль. Что за чудо?! Вывалилась только часть соломы, остальное тащилося по земле на наклоненном днище копнителя. Я еле избавился от этого остатка. В следующий раз, вместо одной, у меня получилось целых три копны, да и то третья вывалилась лишь тогда, когда я сам в качестве балласта прыгнул в копнитель. Я измучился. Я недоумевал. На остановке я, как и Николай прежде, внимательно осмотрел оба копнителя. Я заметил, что у Николая копнитель старый с выгнутыми боками, мой же — новенький, отливающий синим глянцем свежей покраски. Я попал впросак.

— Ну как? — спросил Николай, поглаживая волнистый чуб.

— Ничего... Можно работать.

Вскоре начался дождь. Первые капли упали на агрегат, покрыв его темными крапинами, а затем он из запыленного серого, постепенно превратился в блестящий синий. Подбирать стало невозможно. Мы уехали домой, то есть на полевой стан.

Мы устали, хотя работали всего четыре часа. Болели руки, на ладонях вскочили мозоли, неприятно покалывала спина. За ужином тракторист нашего агрегата Гриша Васюк рассказал, как я сегодня чуть не задохнулся в пыли и как, находясь на копнителе Николая, вместо одной, сбрасывал сразу три копны. Причем, он кое-что добавил от себя. Все смеялись. Лишь тетя Фрося печально смотрела на меня, да горючезов Силыч сокрушенно покачал головой и серьезно заметил:

— Оно, конечно. У нас работа не для студентов.

Так закончился наш первый день пребывания в степи.

МЫ СТРОИТЕЛИ

Два дня не подбираем. Мешает непогода. Ночью опять была гроза. До утра за окном металась молния, гремело, дождь хлестал по стеклам. День занялся солнечный. Но подбирать нельзя: валки едва ли просохнут к вечеру. Мы взяли в бригадной библиотеке книги и привялись за чтение. Часов в десять пришел бригадир. Кроме нас, в комнате никого не было. Бригадир с досадой почесал затылок.

— Вот черт, — сказал он. — Сарай нужно строить, а людей нет.

— Как нет, а мы?

— Так вы плотничать не можете.

— Если нужно, — сумеем.

— Тогда собирайтесь, — повеселел Шосток. — Будем сарай строить.

На стане был сарай. Он выглядел ветхо. Крыша провисла и грозила обвалиться. Лошадей там держать опасно. Решено было старый сарай развалить, а рядом поставить новый.

— Вот вам начальник, — бригадир указал на невысокого мужчину с топором в руках. — Приступайте к делу.

— Чижик. Так меня прозывают, — отрекомендовался нам новый начальник.

И вдруг он с удивительным проворством, семеня кривыми короткими ногами, обежал вокруг сарая и снова предстал перед нами. У него было смешное имя, но оно как нельзя более подходило к нему. В его облике было что-то птичье. Казалось, он не бежал, а порхал от одного места к другому.

— Ну-ка, ребяташки, кто из вас сильный математик. Нужно рассчитать и разметить шесть ямок, — быстро проговорил Чижик и проворно засеменял туда, где предполагалось строить сарай.

Сильными математиками назвались Андрей и Толя. Они что-то измеряли лопатой, потом перемеряли несколько раз и с таинственным видом производили сложные вычисления. После долгих расчетов и споров они взялись, наконец, копать ямы. Мы с Николаем принялись раскидывать ветхое строение.

Ямы были выкопаны. Мы быстро установили столбы. Началась очередь поднимать центральную продольную балку. Она длинная, тяжелая, поднимать ее нужно высоко, примерно, на четыре метра. Чижик подлетел к нам:

— Ну-ка, будущие инженеры, изобретите что-нибудь в интересах коллектива.

Мы обрадовались возможности применить наши познания на практике. Мы стали, соревнуясь друг с другом, изобретать различные механические приспособления и устройства. Все они тут же отвергались Чижиком как непригодные для данных условий. Но мы не падали духом и предлагали все новые и новые варианты механических сооружений. Николай, задрав кверху крутой подбородок и поглаживая рукой волнистый чуб, прохаживался взад-вперед, натываясь на бревна и столбы. Без того серьезный. Андрей стал похож на древнего мудреца. А Толя уселся на кучу соломы и, сжав руками лоб, усиленно обмозговывал что-то свое.

— Можно установить журавль. А что?.. Очень просто, — предложил Николай Рубанов. Он, наконец, оторвал руку от волнистого чуба, который уже не был волнистым и торчал кверху, похожий на щетку. — В древнем Египте вон какие пирамиды с помощью журавлей воздвигали.

Наше творчество и изобретательский пыл прервал Чижик.

— Ребятки, посторонись! — Чижик подкатил бричку. — Становись на бричку. Поднимем один конец балки на столб, а затем этим же макаром другой.

Все оказалось легко и необыкновенно просто. Толя у нас силач. Он чемпион института по борьбе. Здесь очень пригоди-

лась его сила. Он отстранил всех, встал на бречку, подставлял под тяжелую балку могучие плечи, присел и резко выпрямился. Балка тут же водворилась на столб.

Далее работа у нас пошла как по маслу. Мы подтаскивали длинные жерди, распиливали их, обтесывали, зарубливали. Справлялись мы с этим очень легко. Тут выяснилось, что Андрей уже раньше как-то помогал плотницкой артели, а Николай Рубанов имел счастье однажды устанавливать деревянный забор возле своего дома, и потому они не были новичками в строительном деле. Толю же, как всегда, выручала мускулатура. Он вгонял в дерево топор с такой силой, что разрубал жердь одним ударом.

В полдень пришли посмотреть, как мы работаем, горючевоз Силыч, повар тетя Фрося и водовоз Вася Прищела, без которого не обходилось ни одно дело. Они придирчиво присматривались к каждому нашему движению и, наверно, наша работа им понравилась, потому что Силыч сказал значительное «Гм...», жалостливый взгляд тети Фроси сменился удивленным, а Вася вдруг ни с того, ни с сего объявил, что как только будет на стане кино, он посадит нас на лучшие места: он всегда помогает киномеханику, и тот разрешает ему на выгодные места сажать своих друзей.

К вечеру мы закончили строительство. Приятно было посмотреть на творение рук своих. Высокий новый сарай сверкал в лучах заходящего солнца белизной свежееобтесанного дерева. Николай Рубанов, чтобы лучше налюбоваться новостройкой, влез на высокую березу, стоящую неподалеку, и кричал нам, что сарай сверху кажется чудом.

ЧЕЛОВЕК УЗНАЕТСЯ В ТРУДНОСТЯХ

Пять дней мы живем в степи. Привыкаем к полевой жизни и стараемся работать на совесть. Часто идет дождь. Механизаторы заняты пахотой. Многие тракторы в непогоду не выезжали пахать: не хватало прицепщиков. Нас, хотя мы ничего не делали, бригадир не ставил на прицеп: опасался, что не справимся или, чего доброго, под плуг попадем. Мы даже поругались с ним, пока убедили, что можем выполнять всякую работу наравне с колхозниками. Теперь и нас посылают на пахоту и в другие места, где не хватает людей. В первые дни можно было заметить, что кое-кто поглядывает на нас косо или явно насмешливо, как на людей, случайно попавших в поле. А сейчас нас уже считают за своих. Это нас радует.

Сегодня весь день накрывали соломой сарай. Солому подвозили на лошадях горючевоз Силыч и учетчик, суровый и молчаливый мужчина, не проронивший за время работы ни единого слова. Солома была мокрая, улежалая, плотная. За день мы

сильно устали. Вечером с небывалым аппетитом поужинали, дважды попросив добавки, а затем, как нам ни хотелось спать, пришлось идти в кино, сагитировал нас водовоз Вася Прищепа.

— Фильм хороший. Про шпионов, — врал Вася, потому что мы этот фильм видели и знали, что он не про шпионов. — Я вам места хорошие оставляю.

После кино завалились спать. Уже сквозь сон слышали, как взвизгнула дверь. Кто-то вошел.

— Ребята, вас можно на минутку? — По голосу мы узнали помощника бригадира.

— В чем дело?

— Васюк выезжает в ночь пахать. Нужно человека на прицеп. Кто пойдет?

Мы молчали в нерешительности. Николай Рубанов быстро сбросил одеяло, поднялся.

— Я пойду.

Молодчина Николай! Пока мы собрались с духом и сказали то же самое, он уже надел плащ и направлялся к выходу. Физически он слабее нас и, по правде сказать, устал за день больше всех. А ведь пошел в ночь. И слушать не стал, когда Толя заявил, что он пойдет. Это в Николае Рубанове что-то новое.

Утром трактора вернулись с пахоты. Погода установилась, предполагалось начать подборку. Николай Рубанов пришел пропыленный, измученный, осунувшийся, отчего крутой подборок у него выделялся резче, глаза от ветра и бессонницы стали красными. На наш вопрос, как он себя чувствует, нашел в себе силы улыбнуться.

— Хорошо... Знаете, я сегодня впервые в этом году встретал восход солнца. Красиво... А вспахали одиннадцать гектаров. Норма семь.

Николай ушел завтракать. Тракторист Гриша Васюк остался с нами. Гриша сказал:

— Товарищ ваш—крепкий парень. Ночью ветер был лютой, а утром еще морозец стукнул, охоченеть можно. А он сидит на прицепе в плаще, мерзнет страшно. Не утерпел я, остановился. В кабину звал погреться. Не пожелал он. Особенно перед восходом...

— Он любовался зарей? — спросили мы.

— Куда там, — махнул тракторист рукой. — До зари ли ему было. Не мог усидеть на прицепе. Все больше рядом бежал, чтобы согреться. Я его второй раз в кабину звал. Не схотел. Нажимай! — мне кричит. Тут, как на беду, плуг сломался. Решал я все бросить и идти на стан. Он же уговорил остаться. Говорит, если все при первой неудаче будут разбежаться, так зачем нас в поле держать. Плуг он почти сам отремонтировал. Чуть пальцы не отморозил, а исправил. Хороший парень. При-знаюсь, ребята, не думал я, что такие студенты бывают.

Так вот он какой, Николай Рубанов! Мы уже два года с ним учимся вместе, а ведь не знали его.

СНОВА НА КОПНИТЕЛЕ

— День будет хороший, — сказал горючевоз Силыч. — По вчерашнему ваякату сужу.

Похоже, что старик прав. На небе ни тучки. Окутанный туманной дымкой, лиловый диск солнца медленно набирал высоту. Степной бродяга — ветер — шелестел в траве, обдавал щекочущим запахом полыни. Стрекотание кузнечиков, трезвон жаворонков, свист сусликов — все перемешивалось с рокотом моторов. Степь оживала после тоскливых пасмурных дней.

Николай пахал ночью. Его заставили отдыхать. У Андрея был сломан комбайн, и он пошел на копнитель Николая. На нашем агрегате у штурвала стоял комбайнер Иван Васильевич Литвинов. Штурвального он отпустил домой: у того заболела жена.

Не успели мы объехать круга, как подкатил грузовик, обдав нас пылью и запахом бензина. Незнакомый чумазый шофер крикнул комбайнеру:

— Эй, Иван Васильевич! Один трактор отправьте на косо-вицу силоса. Бригадир приказал.

Комбайнер длинно выругался: в такую-то пору приходится останавливать агрегат. Комбайн отволокли в сторону. Трактор ушел. Литвинов и я улеглись на свежую копну. Я бездумно разглядывал синеву неба. Иван Васильевич ковырялся в соломе, проверяя обмолот. Второй агрегат уже сделал круг и приблизился к нам. Комбайнер необыкновенным чутьем уловил в шуме агрегата неладное.

— Надо взглянуть.

Он побежал к агрегату по-мальчишески проворно. Даже не поверишь, что ему около сорока лет. В две-три минуты неисправность устранил. Агрегат, а за ним и облако пыли потянулись дальше. Иван Васильевич вернулся, снова лег на солому, но ему было не по себе.

— Я сбегаю на полевой стан. Узнаю, как с трактором.

Он проворно вскочил на велосипед и окрылся за березовым колком. Часа полтора я валялся в копне. Мне это надоело. Я отправился на полевой стан. Там я увидел разбросанный трактор. Возле копошились тракторист Владимир Вагал, толстый и на вид неуклюжий парень, и Иван Васильевич. Вагал бросил ключи, устало махнул рукой.

— Кончай, Иван Васильевич! Сегодня все равно не сделаем. Коленчатый вал сломался — это тебе не шутка.

Литвинов не слушал. Он промывал и собирал части машины. Трактористу сказал:

— Часа через два коленвал привезут. Новый из РТС. Бригадир обещал. Надо все приготовить для его установки.

— Ха! Обещал... — криво усмехнулся Вагал. — Все они обещают, а толку? Теперь будем вот так загорать денька четыре.

Вагал был из тех людей, что обычно хорошо работают, но случись поломка, быстро сдают, пасуют, преувеличивают опасность. Иван Васильевич не сердился на него и не обращал внимания на ворчанье. Трактористу ничего не оставалось, как вновь взяться за работу. Я присоединился к ним. Втроем стали быстро собирать машину.

В семь часов вечера, к великому удивлению и радости Вагала, трактор был готов. Спустя полчаса, мы уже подбирали. На остановке подошел Андрей, пропыленный, грязный, по-обычному серьезный и мрачноватый.

— Без вас мы двенадцать кругов сделали, — не без гордости заявил он, хмурясь. — Знаешь, это уже больше нормы.

По веселым, шалозливым искоркам в глазах, по возбужденному лицу — по всему видно, что он счастлив, что готов подбросить вверх фуражку и подпрыгнуть от радости и что ему стоит немалых усилий сохранять напускную мрачноватость.

Наступила ночь. В ней все было красиво. Даже соломенная шелуха, выглядевшая днем серой и непривлекательной, сейчас мелькала яркими серебряными пластинками и, кувыркаясь, таяла в темноте. На десятки километров вокруг раскинулось множество огней. Огни земли и звезды неба сливались вместе на невидимом горизонте и казалось, что мы вырвались в космос и плаваем между звезд.

Ночью на копнителе намного труднее. Ночью холодно, слипаются глаза: хочется спать. К тому же нужно очень зорко следить, чтобы копыны сбрасывались в одном и том же месте. Чуть сплеховал, приходится раскрывать копнитель где попало и сразу же видишь укоризненный взгляд комбайнера.

Подбирали до 2-х часов ночи. Наш агрегат убрал восемь гектаров, второй агрегат — 18. Норма 14 гектаров.

На стан прибыли в третьем часу ночи. Я заметил, что у Толи и Андрея лица серьезные, важные. Так поздно возвращались мы с поля впервые. Рабята гордились, что могут выдерживать на мостике копнителя шестнадцать часов кряду.

ГРИША ОБГОНЯЕТ ЕФИМА

Мы находимся в степи десять дней. Все для нас здесь стало своим, привычным, а люди кажутся давно знакомыми. Наш агрегат постоянно буксировал трактор Гриши Васюка. Это был розовощекий, смешливый, любопытный парень, толково знающий свое дело. Гриша любил ни с того, ни с сего неожиданно задавать специальные вопросы и тем повергать собеседника в смятение. В то время как я помогал ему обслуживать трактор, он всегда подкидывал два-три подобных вопроса.

— А где топливный фильтр? — Спросил однажды неожиданно Гриша. — Не знаешь?.. То-то. — Гриша расплывался в довольной улыбке. — Показать?

— Покажи.

В другой раз он, указывая на деталь и заранее лукаво улыбаясь, спросил:

— Что это? А?

Я, признаться, знал, что это форсунка, но чтобы доставить Грише удовольствие, сказал:

— Не знаю.

Так постепенно я изучал трактор. Стороной я слышал, что в разговоре с механизаторами Гриша хвалился:

— Я студента обучаю.

Обслужив трактор, мы выезжали в поле к комбайну. Дорогой Гриша продолжал мое обучение. Иногда мне это надоело, и я вскоре нашел легкий способ делать перерывы в подобных занятиях.

— Что, Гриша, обогнал ты вчера Ефима? — безвинно спрашивал я.

— Нет. Его, черта, не обгонишь. Он на своем КДП, как на лошади бегаст.

Вечная улыбка исчезала с его румяного лица. Он делался задумчивым, неразговорчивым. Гриша любил большие скорости. Это его больное место. Ефим Дашук буксировал второй агрегат Ивана Васильевича. Он старше Гриши лет на десять, сдержаннее, медлительнее, трактор у Гриши ДТ-54, у Ефима — новенький КДП. Последний намного быстрееходней. Но Гриша не желал отставать, и всегда наш агрегат следовал по пятам Ефима. Это превратилось в настоящее соревнование. Постепенно в него включились штурвальные и мы, копяльщики. По утрам старательнее, чем прежде, готовили машины. Случись неполадка — все дружно кинулись ее устранять. В течение дня борьба у нас шла с переменным успехом. Однако Ефим, имея большую скорость машины и больше опыта, к концу рабочего дня обычно добивался перевеса.

Если комбайнер в этом состязании придерживался нейтралитета, то по-иному поступал шофер, отвозивший зерно от наших агрегатов. Небрежный, неосторожный, прозванный за это Вопоной, он больше тяготел к Ефиму и не прочь был перед ним отличиться.

Сегодня у Ефима что-то не ладилось. Мы обогнали его на круг. Их агрегат остановился — порвалось полотно. Комбайнер приказал нам обходить и следовать дальше. Шофер стоял рядом с Ефимом, глядя на нас, ехидно усмехался. Метров через четыреста бункер наполнился зерном. Штурвальный дал гудок. Грузовик стоял на месте. Шофер не замечал сигнала. Пришлось остановиться. Гриша взобрался на бункер, начал свистеть. Затем мы втроем кричали и махали фуражками. Ни-

чего не помогло. Стало ясно, шофер специально задерживает нас.

— Мы его сейчас проучим, — сказал Гриша.

Он дал знак грузовику, что отвозил зерно от других комбайнов. Тот незаметно подошел. Второй агрегат приближался к нам. Мы уже успели разгрузиться, когда подъехал Ворона. Он сделал кислое лицо, но ничего не сказал. Второй бункер мы снова из-под носа Вороны отдали выпучившему нас шоферу. Ворона рассердился не на шутку. Грозился доложить председателю.

— Докладывай, — смеясь, отвечал Гриша. — А что из этого вылетит. Тебя же разоблачат.

Больше нам не приходилось простаивать из-за автомашин: шофер исправился.

Агрегаты шли вместе. Николай Рубанов выронил нечаянно вилы, и они затерялись в стерне. Он спрыгнул с мостика, начал искать их. Его копнитель с катастрофической быстротой наполнялся соломой. Мне пришлось выпучать Николая. Я поспешно приводил в порядок солому на своем копнителе, бежал ко второму агрегату и делал то же самое на копнителе Николая. Масса шла густая и бегать приходилось так часто, что я минут через десять еле ноги волочил. А тут еще Гриша.

— Что ты бегаешь? — кричал он. — Как на соревнованиях. Бег с препятствиями. А результат у тебя отличный. Неделю назад на одном копнителе не мог работать, а сейчас с двумя управляешься.

Мне было не до смеху. Вилы нашлись через час.

Подбирали до часу ночи. Ефиму так и не удалось выйти вперед. Наш агрегат подобрал 25 гектаров, другой — 23. Гриша впервые обогнал Ефима. Дорогой на стан он был необыкновенно весел и засыпал меня каверзными вопросами по устройству машины.

РЕКОРД

Сегодня начало ударной пятидневки. Утром Николай Рубанов и я просмотрели, когда ушел грузовик с людьми в поле. До агрегатов добрых шесть километров. Что делать? Решили устроить кросс. Через полчаса были у агрегатов. Иван Васильевич встретил нас хмурым взглядом. Мы ожидали разноса. Но он заметил, что рубашки у нас мокрые, догадался, что бежали, улыбнулся и ничего не сказал.

Подборку еще не начинали: на стерне, на валках, на придорожной траве сверкали искорки росы. Гриша беспокойно прохаживался взад-вперед у трактора. Его румяное лицо на редкость сурово и озабочено.

— Черт возьми, — волновался тракторист, — ударную пятидневку начинаем, а тут роса мешает. Тьфу...

Штурвальный не любил паники.

— Роса не первый день. Через час не будет. А ты трактор пооблазь. Не то подведешь.

— Что трактор? Он как часы, — расхвастался Гриша. — В него можно не заглядывать. Который день ничего не случилось.

Солнце поднялось выше. Над низинами, над дальними колками, дрожа, повисли зыбкие волны испарений. Искорки росы потускнели, стали исчезать. Иван Васильевич подошел к валку, взял в руку несколько колосьев.

— Пора, — сказал он.

Агрегаты тронулись. Вторую неделю мы работаем в поле. Привыкли. Но сегодня волновались: день особенный. Это видно по всему. По полю, несмотря на ранний час, несколько раз проскочила председательская «Победа», проехал по стерне на черном красивом жеребце агроном. Водовоз Вася Прищела раньше обычного привез воду и теперь страдал, что вода еще никому не нужна.

Агрегат работал хорошо. За два часа успели пройти четыре круга — это почти шесть гектаров. Вдруг штурвальный схватился за тросик гудка.

— В чем дело? А? — показал Гриша румяное испуганное лицо.

— Полотно не движется. Заклинило.

Втроем быстро провернули полотно руками. Теперь я уже разобрался в агрегате и в случае поломки работал наравне со всеми. Со второго агрегата спрыгнул на ходу и бежал к нам Иван Васильевич. Неисправность устранили. Второй агрегат успел уйти далеко вперед. Это очень волновало Гришу. Он несколько раз выглядывал из кабины, просительно кричал комбайнеру:

— Можно, я пятаю включу? А?..

— Не горячись, — отвечал Иван Васильевич. — Промолчать не будем.

— Так ведь тридцать гектаров не дадим, — чуть не плакал тракторист.

Это мы между собой решили подбирать ежедневно по 30 гектаров.

Были еще поломки. На этот раз подкачал Гриша. Он никак не мог включить скорость, остановил трактор, стал копать в нем.

— Болт у муфты сцепления отлетел. Запасного у меня нет, — мрачно сообщил он.

Через некоторое время примчался бригадир:

— Почему стоите?

Пока Гриша сбивчиво объяснял, Шосток соскочил с подвода, взглянул на перекошенные фланцы муфты, все понял, позвал тракториста к себе.

— Куда ты утром смотрел?

— Ну разве я знал... что... — упавшим голосом пробормотал Гриша.

— Знал! Знал! Теперь стой вот... Ну, ладно, не дуйся очень. Я сейчас сбегаю на стан, привезу болт. С час постоишь. Эх, бить тебя мало.

Бригадир уехал. Гриша, взявшись руками за голову, бродил вокруг агрегата. Бросая завистливые взгляды в сторону Ефима, бормотал:

— Как же так? Как же это?.. Целый час стоять. — вдруг решился. — Все по местам!

— Трактор-то сломан?! — удивился штурвальный.

— Челуха. Скорость как-нибудь включу. А муфта и на двух болтах продержится. Не терять же время.

Снова начали подбирать. Приехал бригадир. Заметив, что агрегат движется, он только руками развел и погрозил Грише кулаком.

В час ночи появилась роса. Закончив загонку, агрегаты остановились. Ярким светящимся клубом подкатила «Победа».

— Иван Васильевич! Иди с хлопцами сюда! — крикнул из темноты председатель колхоза.

Мы подошли.

— Вот выпел вам привез, — бойко говорил председатель. — Убрали вы 70 гектаров. По 35 на агрегат. 250 процентов. Неплохо! А? Поздравляю с рекордом.

Иван Васильевич, маленький и неловкий, бесцельно крутил фуражку в руке. Похвал он не любил.

В ОТСТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ

Мы часто рассказывали друг другу о выработке агрегата, о том, у кого сколько трудодней. Если Толя Белогуров, Николай Рубанов и я часто хвалились и выработкой, и заработком, то Андрей Тимофеев обычно помалкивал. Андрей работал в агрегате Юрия Злобина. На доске показателей этот агрегат занимал последнее место. Андрей заработал всего десять трудодней, у остальных нас — более семидесяти на каждого. Решили Андрея выручить. Я заменился с ним агрегатом.

Утром я должен был уехать с трактором к Злобину. Тут произошла заминка. Дело в том, что если за остальными агрегатами были закреплены тракторы, то у Злобина никто из трактористов постоянно не желал работать. Бригадиру приходилось по очереди посылать туда каждого тракториста на три дня. Сегодня настала очередь ехать Владимиру Вагалу. Бригадир, видя, что он не собирается к Злобину, напомнил ему об этом.

— Не поеду я туда! — вскипел Вагал. — Не поеду! Чем у комбайна стоять, я лучше здесь постою или пахать направлюсь.

Бригадир не сказал больше ни слова, ушел. Он дважды ни-

чего не повторял. Вагал, ворча и чертыхаясь, долго ковырялся в моторе, потом крикнул мне:

— Садись! Поедем к лодырям.

Когда подъехали к агрегату, Вагал развернул трактор, а прицеплять комбайн не стал:

— Без толку, — сказал он.

Комбайн выглядел печально. Двигатель разбросан, ремень привода от мотора к шкиву барабана порван, краска ободрана, кругом вмятины.

Вагал, толстый и неуклюжий, переваливаясь с боку на бок, как утка, обошел агрегат, прищелкивая языком и ужасаясь:

— Ложись. Загорать будем.

Лежать мне не хотелось. Я направился к владельцам агрегата. Те пытались соединить порванный ремень болтами. Я присел рядом, начал помогать им. Разговорились, и они понемногу-помалу рассказали о себе. Комбайнеру девятнадцать лет. Он нездешний. Он из Сталинградской области. В его родном приволжском колхозе уборка закончилась в начале августа. Он вызвался поехать на Алтай, помочь в уборке. Его направили в колхоз им. Мамонтова. Свободных комбайнов здесь не оказалось. На колхозном дворе стоял заброшенный комбайн, подлежащий сдаче в металлолом. Юрий Злобин работал лишь на самоходных машинах, но решил не терять напрасно времени и попробовать пустить в ход заброшенный комбайн. Помогать ему вызвался Алексей Бурьянов. Они взялись за дело. Кое-кто в бригаде называл их фантазерами.

Агрегат вывели в поле. Он начал ломаться так часто, что первые дни приходилось только тем и заниматься, что ремонтировать его. Но нет худа без добра. Частые неполадки научили быстрому ремонту, и их дневная выработка уже приближалась к норме.

Втроем за полтора часа соединили ремень, натянули его, собрали и завели двигатель. Агрегат тронулся. Но тут же слышался треск, слетела цепь с шестерни соломенного транспортера. Тракторист выбрался из кабины, присвистнув, взглянул на поломку, лег на солому, притворно захрапел.

Половину цепи заменили новыми звеньями. Она больше не слетала. Первый круг прошли без поломки. Вагал повеселел. При разгрузке бункера он подошел к шоферу и, кивнув на комбайн, похвалился:

— На мое счастье ходит. Глядишь, трудодня два зашибу.

Вскоре сломался хедер. Вагал первым выскочил на стерню с ключом в руке. К вечеру сделали восемь кругов. Потом снова порвался ремень. Его стянули болтами вторично. Не проехали двадцати метров, он опять лопнул. Соединили — порвался в третий раз. Злобин взялся за ключи, чтобы соединить в четвертый раз.

— Бросай все к черту! Поедем на стан, — снова пал духом Вагал.

Его пыла, как обычно, надолго не хватало. Ремень лопнул в четвертый раз. Он стал коротким, и не было никакого смысла его ремонтировать. Но комбайнер и штурвальный продолжали копошиться возле него. Тут уж и я не выдержал:

— На вашем месте я бы не стал возиться. Я бы бросил такой агрегат.

Злобин и Бурьянов помрачнели, ничего не ответили. Они пожалели, что утром откровенничали со мной: я, как и все, не понимал их. Подъехал грузовик. Шофер, взглянув на поломку, подлил масла в огонь.

— Что вы мучаетесь. Это железо, — он махнул рукой на комбайн, — надо выкрасить и выбросить. Самим идти на другую работу. И заработнее и спокойнее.

— Все только и говорят — бросай! — рассердился комбайнер. — Мы сегодня норму дали. Чего еще надо. Завтра больше дадим.

Шофер ухмыльнулся, а Вагал, лежавший в копне, схватился за живот и сквозь смех пробормотал:

— Добрые комбайнеры больше двух норм дают. А они нормой удивить хотят. Ха-ха...

— Нам бы новый ремень да кое-какие части — две нормы дадим, — не упимался Злобин.

— Сказки, — отозвался из-под копны Вагал. Он уже не смеялся. — Садитесь в кузов да катитесь на стан, Маниловы несчастные. Слышал про таких?

— Слышал, — отвечал Злобин. — Это из «Мертвых душ». А мы живые. Разница есть. Пусть мало уберем, а колхозу все же польза.

Разговор и наш рабочий день на этом окончились.

Сегодня ночью справляли именины. Толе Белогурову исполнилось двадцать лет. Тетя Фрося по этому случаю принесла для нас бутылку «Вермута». Мы разбавили ее тройной порцией чая и распивали этот чудесный напиток, провозглашая громкие тосты в честь юбиляра.

ВОДОВОЗ ВАСЯ ПРИЩЕПА

Агрегат мертвой громадой возвышался среди стерни и валков. Старый ремень порвался, а нового не было. Бригадир даже не обещал, что сможет его достать. Злобин со штурвальным отправились на поиски ремня в деревню. Вагал и я валялись под копной. Сентябрьское солнце светило по-летнему ярко и животворно жгло. Это было настоящим бедствием для меня и особенно для Вагала. Не успевал он как следует заснуть, его уже начинало припекать. Он, ворча и чертыхаясь, протискивался в тень. Но догадливое солнце вскоре настигало его и там.

Я от нечего делать надкусывал пшеничный стебель и слушал, как ветер шуршит в соломе. Кругом по порыжевшей, ошетилившейся стерней степи пыльными клубками двигались агрегаты. Досадно: все работают, а мы стоим.

По дороге загрохотала бричка. Приехал водовоз Вася Прищепа.

— Здравствуйте, работники! — приветствовал он нас. — Полеживаете?..

— Как видишь.

Надо прямо сказать, Вася—озорной парень. Что-нибудь выкинуть — это его медом не корми. У Васи имеется шикарный бич с волосяным наконечником оригинальной конструкции. Не знаю, как он его делал, но когда он ударял бичом по земле, наконечник издавал резкие звуки, очень похожие на револьверные выстрелы. Все мальчишки села завидовали Васе, просили его пострелять. Он соглашался, но не очень охотно и после породочных уговоров.

Вася подошел к спящему Вагалу и у его носа несколько раз выстрелил бичом. Тракторист вскочил ошалелый.

— Кто стрелял?..

— Не знаю, — Вася спрятал бич за спину.

Но Вагал уже сообразил в чем дело и искал глазами, чем бы огреть водовоза. Не найдя ничего подходящего, Вагал стал спешно снимать сапог. Вася нырнул к бричке, спрятался за бочку.

— Но-но!.. Потихе. А то без воды поморю.

Угроза подействовала. Оказаться в поле без воды в такую жару — дело гиблое. Тракторист обулся, пробурчав:

— Ладно, Васька. Иди сюда. Я не буду. Только смотри у меня!

И мне однажды озорной мальчишка подложил пилюлю. Несколько дней назад по окончании работы я спросил водовоза:

— На бричке, наверно, хорошо ездить?

— Ага, — сказал Вася. — Хочешь, на стан вместе поедем? Прокатиться.

Я с радостью согласился. На подводу наложили соломы и поехали. Вася свернул лошадь с шоссе на его обочину.

— По тракту часто машины идут, — лошадь боится, — пояснил он.

Сбоку шоссе пролегалла старая, давно заброшенная дорога, состоящая сплошь из рытвин и ухабов. Хорошая лошадь пошла рысцой. Солома хорошо амортизировала, и мы стали подлетать в воздух, как резиновые мячики.

Сначала мне это понравилось. Но минут через пять зашумело в голове, заболел живот и каждый валет отдавался в висках. Я не мог более терпеть и велел остановить лошадь.

— Ты что? — удивился Вася.

— Да... Тут близко. Сам дойду.

В остальном это хороший паренек. Обязанности водовоза он исполнял с большим старанием. Широко раскинулись поля бригады. Глазом не окинешь. Почти три тысячи гектаров. Но никто и нигде не оставался без воды. Мало того, вода в флягах менялась два-три раза в день. Везде успевал юный водовоз. В полдень Вася обычно сопровождал тетю Фросю, когда та развозила обед, чтобы механизаторы после обеда могли выпить свежей воды.

Кажется, нехитрая профессия у Васи. Однако и в ней он нашел простор для творчества. Бочка, которую он возил с собой, была оборудована разными приспособлениями. Воду из нее можно пить без кружки. Выдвинешь сбоку бочки трубочку, вода небольшим фонтанчиком сама в рот льется. Удобно и гигиенично.

Вася не любил долго задерживаться у одного агрегата. Он налил в фляги свежей воды, к великому неудовольствию солного Вагала, выстрелил несколько раз бичом, сел на бричку и умчался.

Перед вечером Вася снова появился. Он сделал страшные глаза и сообщил:

— Пожар!..

— Где горит? — вскочил Вагал.

— В агрегате, где работает Толя Белогуров. Я сам видел. Какой-то ротозей бросил окурок возле комбайна. Загорелась стерня, а потом краска на копнителе. Пламя было большое! Все перепугались — и ни с места. А Толя Белогуров кинулся прямо в огонь и накрыл пламя телогрейкой. Телогрейку спалил, сам чуть в дыму не задохнулся, а огонь погасил. Потом уж ему и другие помогли. Бригадир сказал, что Толя герой и обещал купить ему новую телогрейку.

Вася замолчал, значительно поглядывая на нас. Я спросил, не обжегся ли Толя. Он сказал — нет; их агрегат подбирает и Толя стоит сейчас на копнителе. Вася вновь исчез, чтобы сообщить новость остальным агрегатам.

За ужином говорили лишь о пожаре и о смелости Толи. Вася сидел рядом с Толей и смотрел на него влюбленными глазами.

ВАГАЛ НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ

Вчерашний день у нас пропал. Сегодня утром в поле на попутном грузовике примчался Алексей Бурьянов. Он спрыгнул на ходу и бегом направился к нам, размахивая внушительным свертком.

— Ремень привез, — радостно сообщил он.

Сверток стали бережно разворачивать, словно в нем был

грудной ребенок, а не прорезиненная лента. Ремень оказался не в меру узким, порядочно потрепанным.

— Тю!.. — удивился Вагал. — Где ты его выкопал?

— Всю деревню обшарил. Нигде нет, — улыбаясь, рассказывал штурвальный. — С горя не знал, что делать. На счастье, встретил механика тока и тот дал ремень.

— Чему радуешься, — перебил его Вагал. — Это же допотопная вещь. Это ремень с «Коммунара», а у нас — «Сталинец-6». Не пойдет.

Штурвальный сразу поник, растерянно заморгал глазами. Злобин решил испытать. Он взял ремень, поднес к комбайну, примерил к шкивам.

— Попробуем, — сказал он.

Первая попытка запустить агрегат не удалась. Ремень забуксовал, соскочил, жалобно взвизгнув, и упал на землю. Устанавливая ремень второй раз, натянули его потуже. Дело пошло лучше. Мы с большой надеждою смотрели на старинный ремень и молили небеса, чтобы он выдержал. Вагал несколько раз высовывал из кабины большую кудлатую голову.

— Как, дюжит?

— Пока держит.

Кудлатая голова исчезала, чтобы через минуту вновь появиться с тем же вопросом.

Ремень не подвел нас. Он работал не хуже нового. Вагал, недавно ругавший Бурьянова, испытывал перед ним неловкость. На одной из остановок, чтобы как-нибудь оправдаться, он сказал:

— Старые вещи они надежнее, так как испытаны много раз.

Хорошо подбирали до самого вечера. Случались иногда поломки; их быстро устраняли. Владимир Вагал, ободренный успехом, преобразился, показал удивительное проворство, сноровку и знание агрегата. Если бывало остальные мешкали или, по его мнению, делали не то, что надо, он шумел:

— Не то делаешь! Вот так нужно.

Юра Злобин ухмылялся и помалкивал. Признанный верховодом Вагал в довольной улыбке скалил зубы и старался пуше прежнего. К концу дня убрали восемнадцать гектаров. Норма была впервые выполнена и перевыполнена. Другие агрегаты подбирали и ночью, но у нас не было освещения. Злобин, как ни бился, а достать его до сих пор не смог. Пришлось подборку заканчивать. Вагал досадовал больше всех и грозился добраться до самого председателя, но освещение не добыл. Сегодня уже никто не заводил речи о негодности агрегата. Приехал бригадир. Справившись о выработке, он похвалил ребят, а Вагалу сказал:

— Сегодня третий день ты у них. Завтра вернешься на прежнее место.

Вагал замаялся, видно, привык здесь; не хотелось ему ухо-

доть, но просить бригадира оставить его здесь не решился. Бригадир ушел осматривать колны. Вагал приблизился к комбайнеру, просительно зашептал:

— Юра, слышь... Ты попроси его, — он указал рукой на бригадира, — здесь меня оставить. Понимаешь, я не против.

Злобин отправился к бригадиру. Их разговора не было слышно. Вагал в это время беспокойно ходил взад-вперед и нервно мял в руках промасленную фуражку. Злобин вернулся.

— Нельзя, — сообщил он трактористу. — Сюда назначили Гришу Васюка. Тот уже гонит к нам трактор. Может, ты с Гришей договоришься.

— А, бесполезно: он не поймет, — Вагал безнадежно махнул рукой, тяжело вздохнув, полез в трактор. — Надо мне было самому поговорить. А ты, Юра, не сумел, не смог. А жаль...

Вагал с такой силой нажал на педаль подачи топлива, что трактор взревел и прыжком сорвался с места. Удивленный бригадир велел остановить машину, а тракториста позвал к себе. С утрумой решимостью, ожидая разноса, Вагал приблизился к бригадиру.

— Ну, чего еще?..

— Оставайся здесь, — с улыбкой сказал бригадир. — Васюка я направлю в другое место.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Почти две недели стояла удивительно ясная теплая погода. Уборка в бригаде подходила к концу. До ее завершения оставалось дня три-четыре. Но бригадир привез тревожную метеосводку — будет дождь. И действительно, на чистом с утра небе появились небольшие тучки. Они, быстро разрастаясь, слились в общую бесформенную массу, затянувшую небосвод мглистым саваном. Стало накрапывать. К обеду в степи рванул, засвистел злующий ветер. Он разорвал мглистый саван, и его косматые свинцовые клочья бесконечной чередой потянулись на север. Погода испортилась окончательно и надолго.

Агрегаты были покинуты людьми. Трактора столпились на полево́м стане. Чуть поутихнет дождь, они уйдут пахать. Нас, копнильщиков, бригадир распределил к тракторам на прице́пы. Я попал к Грише Васюку. Едва небо прояснилось, Гриша позвал меня к трактору, чтобы приготовить его для пахоты. Я изрядно намучился, пока прошприцевал колеса у плуга и подтянул все гайки на нем, к тому же на холодном ветру страшно мерзли руки, и пальцы плохо повиновались мне. Гриша колошился у трактора, поглядывая в мою сторону, добродушно усмехался:

— Это тебе не с книгами сидеть у паровой батареи.

Выехали пахать. На прицепе трудно было усидеть. Сви́ре-

пый ветер жутким холодом пронзал тело. Но приходилось терпеть.

Под вечер в поле появился бригадир. Он сообщил, что приехал киевский цирк, и велел заканчивать работу. Все обрадовались несказанно: цирк в селе — явление редкое. Через час мы были в клубе. Гриша Васюк, одетый во все новое и неузнаваемо чистый, водил меня по просторному зданию, с гордостью заявлял:

— Наш клуб лучший в районе.

Представление закончилось в полночь. Грузовик, пронзая светом фар ночную темень, помчал нас безлюдной степью обратно на полевой стан.

Дождь шел ночью и не прекращался с наступлением рассвета. Дождь шел второй день, третий, пятый. Чуть прояснится — спешим пахать, начинает лить — режемся в пешки. Сначала играли просто так, потом на спор, на шелчки по носу, на папиросы и, наконец, решили провести турнир. В него записалось человек десять. Чемпионом бригады стал Толя Белогуров. Андрей Тимофеев занял второе место. Мы сообща начертили турнирную таблицу на обратной стороне плаката, призывающего на борьбу с грызунами. Разукрасили ее, как смогли, и повесили на самом видном месте. Под таблицей очень большими буквами вывели «Толя чемпион!». Николай Рубяков предложил еще ниже и, конечно, помельче написать «Андрей полу-чемпион». Но Андрей так решительно запротестовал, что пришлось отказаться от этой затеи.

На шестой день показалось солнце. Все вышли во двор и его восход встречали, как появление самого дорогого гостя. На седьмой день начали подбипать. Я опять стал на копытитель агрегата Юры Злобина. В первый же день подборки наш агрегат перевыполнил норму в два раза. Этому помог тракторист. Освещение для агрегата мы еще не достали. Но Вагал нашел остроумный выход: он повернул две фары трактора на хвост комбайна. Мы с успехом могли продолжать подборку в темноте.

И вот настал последний день уборки. Вечером бригадир велел агрегат переоборудовать в походное положение. Злобин со штурвальным остался у агрегата, а меня отправили на полевой стан. Я побрел не спеша по долопу. Легкий шаловливый ветерок шекотал в щеку, доносил смешанные запахи увядающего вязнотравья. Я в последний раз смотрел на полюбившийся нам ширь полей, где теперь была знакома почти каждая кочка, и становилось грустно, что все это придется покинуть.

ПРОЩАЙ, СТЕПЫ

Утром все агрегаты возвращались на полевой стан. Уборка закончилась.

По этому случаю в бригаде готовилось празднество. Тетья

Фрося преобразилась, металась по кухне с торжественно радостным выражением человека, которому поручено очень важное дело. Она готовила стол для предстоящего торжества.

К вечеру многие механизаторы успели побывать дома, переоделись по-праздничному. Полевой стан стал нарядным, шумным, многолюдным. Из домиков повыволакивали столы, стулья и составили их в ряд на лужайке. Женщины расставили вино, закуски. Гулянье началось.

Оно затянулось за полночь. Песням, танцам, пляскам не было конца. К нам, студентам, часто подходили колхозники, говорили, что им очень понравилась наша работа. Бригадир Михаил Шосток сказал нам:

— В прошлом году у нас тоже были студенты. Пять человек. Ох, и помучились мы с ними. Работы от них никакой, а все полавай: и мед, и котлетки, и эту... как ее, культуру разную. Днем спали, а вечером танцы устраивали и выкаблучивались по-смешному. Срам. Так и уехали и даже половину не отработали того, что мы на них израсходовали. Потому признаюсь, как мы узнали, что вы студенты, хотели было отказаться от вас, да председатель настоял взять. И правильно сделал, так как всем нам здорово помогли. Спасибо вам, хлопцы!

Хвалили нас Иван Васильевич, Силыч, Вагал и другие. Всех даже не упомнишь. Много теплых слов было нам сказано. А мы стояли, растерянно улыбались, не зная, что делать и что отвечать.

На следующий день за нами на полевой стан пришла автомашина. Мы отправились в село. Там на току весовщик дал нам мешки, подвел к огромной куче зерна, коротко распорядился:

— Насыпайте.

Мы засыпали пшеницей пятнадцать кулей, погрузили их в кузов новенького «Урал ЗИСА». Колхоз не пожалел для нас лучшей машины. Уже тронулись в путь, как заметили бегущего к нам старика. Это был сторож дед Кирилл. Мы остановились. Старик, улыбаясь в усы, протянул нам газету. На первой странице ее жирным шрифтом сводка о ходе уборки и продаже хлеба государству. Мы взглянули на нее — колхоз имени Мамонтова занимал второе место в районе. Это приятная новость, когда мы сюда приехали, он был на предпоследнем месте.

— Помогли вы нам, вот мы и подтянулись,— сказал сторож.

Конечно, это не совсем так. Но мы радовались, что сторож доволен нами.

— Приезжайте к нам на будущий год,— певуче продолжал дед Кирилл.— Либо после института пожалуйста к нам. Инженеры нам завсегда нужны. А если проездом будете здесь, зайдите ко мне. Спросите дом Кирилла Мяленко. Вам его любой укажет. Я буду рад вас встретить.

И вот мы в пути. Дорога стремительно бежит навстречу, свищет ветер, мелькают километровые столбы и широчайшим ковром медленно уплывает назад степь.

— Ребята! А как вы все поправились,— изумился, словно увидел нас впервые, Толя Белогуров.

Это точно. Николай Рубанов хвалился недавно, что прибавил в весе на четыре килограмма, Андрей — на три. Толя Белогуров — борец. У него и до поездки в колхоз была толстая шея, а сейчас она стала, как у бугая, что мы видели на колхозной ферме.

Работа в колхозе пошла на пользу. Теперь и жить, и учиться будет легче.

Колхоз имени Мамантова Романовского района.

СТИХИ ПОЭТОВ-РАБОЧИХ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ при редакции Чесноковской городской газеты «Ленинское знамя» работает уже несколько лет. Рабочие, инженеры, врачи, учителя, журналисты, любящие литературу, собираются в редакции, чтобы обсудить свои новые произведения.

В последнее время здесь обсуждались рассказы электрообмотчика АВЗ Вячеслава Пачколина, преподавателя литературы Валерия Бармашева, стихи кочегара паровоза Александра Маркова, плотника Василия Перелыгина и других.

Газета «Ленинское знамя» часто публикует стихи, рассказы, дает литературные страницы.

Мы предлагаем вниманию читателей новые произведения членов литературного объединения при редакции «Ленинское знамя».

Михаил Некрасов,

машинист водкачки ТЭС

УТРОМ

Хорошо посидеть над рекою,
отдыхая
в предутренний час.
Вот со свистом
над самой водою
пролетел
быстрокрылый бекас.
И опять тишина.
Только птицы
неумолчно
звенят в ивняке

да буксир
 распыхтелся,
ярится,
тянет баржу
 по сирной реке.

Александр Марков.

кочегар паровоза

МОРОШКА

Вот она
 с лукавою хитринкой
спрятала головку
 под листком.
Умываясь
 капнувшей росинкой,
задрожала
 тонким стебельком.
И опять,
 над мхом поднявшись
 синим,
так и просит,
чтоб нагнулись к ней...
Даже самой
 сладкосочной дыне
не сравниться
 с ягодой моей!

Евгений Боев.

рабочий Алтайского вагонозавода

ЦВЕТЫ

Две березки наклонились низко,
руки-ветки впутали в кусты.
В шелковой траве у обелиска
попыхают яркие цветы.

И гуляю тихой аллеей,
поворачиваясь к Обелиску вновь,
где цветы торжественно алеют,
как героев пролитая кровь.

Федор Шопин,

*мастер пункта техосмотра
станции Алтайской*

ПОЛНЫИ ВПЕРЕД

Изогнутую бровью,
вцепившись в берега,
поднялся мост над Обью,
как радуга-дуга.
В белесой дымке кружат
крылатые гудки.
Идут составы с грузом
стальные ходоки.
Чуть слышен голос плеса:
— Убавьте ход, друзья.
Но в мост стучат колеса.
Нельзя!

Нельзя!

Нельзя!

Окутан дымом ветки,
составы мчат вперед,
с маршрутом семилетки
идут в грядущий год.

ВЕСНУШКИ

Ну и пусть,
что рыжего заката
в волосы ее
лучи вплелась.

и веснушки на лицо когда-то
золотым накрапом улеглись.
И сейчас желтеют,
словно свечи,
что не знают яркого огня.
Но они при каждой новой встрече,
обжигают, как пожар, меня.

ЛЮДИ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Г. КОЛПАКОВ,

*кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РСФСР*

У ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

*Посвящаю моей внучке
Вере Колпаковой*

ЗАМЕТКИ ХИРУРГА

Тридцать пять лет назад я проводил свою первую самостоятельную операцию. Случай технически выпал самый обычный: аппендицит. Готовился тщательнейшим образом. Операция прошла удачно. Закончил, положил инструменты и не помню, как вышел из операционной. Я даже затрудняюсь точно описать состояние хирурга после тщательно проведенной операции. Кажется, теперь тебе все доступно — сейчас поднимешься и полетишь. Хочется с каждым поделиться, а викованнем сказать:

— Человек спасен, он будет жить, он будет здоров.

За тридцать пять лет своей хирургической практики я очень много оперировал. Казалось бы, это чувство должно было притупиться или исчезнуть совсем. Но нет, оно появлялось вновь и вновь после каждой удачной операции. А их были десятки, потом сотни, теперь уже приходится исчислять тысячами. И чем больше я работал, тем сильнее был, если можно так выразиться, хирургический запал.

Руки, которые за тридцать пять лет привыкли к скальпелю, мысли, постоянно занятые сложными медицинскими расчетами, с трудом обращаются к новому, незнакомому делу — написать о прожитом, поделиться тем, что увидел, сделал и узнал за свои долгие годы жизни.

В своем кругу, в кругу медиков, я часто рассказываю об интересных наблюдениях из практики, мы иногда горячо спорим на темы, которые непосвященному человеку покажутся и непонятными, и скучными.

Но сейчас моими собеседниками являются читатели, возможно, далекие по своей профессии от медицины. Им придется последовать за мной в больничную палату, я не раз подведу их к операционному столу и буду касаться таких вещей, о которых люди в обычное время не думают и вспоминают только тогда, когда у них что-нибудь заболит. Заинтересует ли их профессия врача? Я не раз думал об этом и пришел к выводу, что заметки врача могут быть интересны и для широкого читателя. Ведь профессия врача популярна в народе, к ней относятся с уважением. Кроме того, у нас много людей, самых раз-

личных профессий, которые интересуются развитием всех отраслей науки. И, наконец, в исканиях врача, вероятно, немало общего с исканиями инженера, агронома, учителя, потому что искания остаются исканиями в любой области.

О «ЧУДЕ»

Мне не раз приходилось слышать, как больные после сложной операции рассказывают знакомым о хирурге.

— Он сотворил чудо. Я семь месяцев лежала без движения. Дума-ла, уже пора сводить счеты с жизнью. А тут какой-нибудь час и — пожалуйста, опять здорова. После годового перерыва снова выхожу на работу.

Больной в какой-то степени прав. Исцеление пришло к нему, как чудо. Но что значили для врача эти шестьдесят минут, проведенных в операционной, — об этом ни больной, ни с восторгом внимающие ему слушатели не ведают. Полная мобилизация всех сил, внимательность, доведенная до предела, напряжение нервов — вот что такое для врача эти минуты.

Недаром, если в кино показывают лицо хирурга во время операции, на лбу у него крупные капли пота.

Больной считает, что «чудо» сотворилось в течение часа. Да, операция длилась недолго. Но в ней врач использовал ту сумму знаний и опыта, которые накопила медицинская наука и практика за многие многие годы.

Прежде чем произойдет операция, больного тщательно исследуют, проводят анализы, хирург советуется с врачами различных специальностей — терапевтом, невропатологом и др. Медицина обладает сейчас богатыми средствами диагностики.

Каким бы опытом хирург ни обладал, он никогда не подходит к операционному столу с чувством, что все ему известно и успех обеспечен. Человеческий организм настолько сложен и столько неожиданностей и опасностей угрожает больному и хирургу на его пути, что врач всегда должен быть начеку.

Словом, будь я более объективен, то есть свободен от обаяния своей профессии, я, может быть, сумел убедить вас до конца, что «чудо» в операционной не свершается. Но поскольку я и сам до сих пор способен, затаив дыхание, наблюдать работу больших мастеров хирургии, смотреть на них, как на людей исключительных, то с задачей этой справился пока не блестяще. Когда хирург берет скальпель в руки — он отвечает за больного. В течение минут, да что там минут, — в секунды приходится принимать решения, от которых зависит жизнь оперируемого.

Впрочем, мимолетные решения порой приходится принимать и до того, как возьмешь скальпель в руки.

Мы воспитаны в строгих правилах — все в операционной должно быть стерильно, инструменты кипятятся, материал обрабатывается в особых аппаратах. Медицинский персонал представлен в стерильных халатах, колпачках, масках. Руки соответствующим образом обработаны. Иначе просто невозможно представить себе операционную.

Однако жизнь иногда ставит в такие положения, что приходится пренебрегать и этим основным простейшим из правил хирургии.

Однажды ко мне пришла и сообщили, что в тифозном отделении задыхается больной. Я нашел у него быстро развивающийся отек гортани — осложнение тифа. Требовалось срочное хирургическое вмешательство — трахеотомия. Сказал, чтоб больного немедленно

перенесли в хирургическое отделение, а сам пошел готовиться к операции. Не успел подобрать нужные инструменты, как вбегает сиделка.

— Григорий Аронович, он умер! — а сама чуть не плачет.

Едва успел взять скальпель, трахеотомическую трубку для введения в трахею и еще кое-какие инструменты, и — к больному. Схватили в чем был и положили на операционный стол. Все мои помощники к операции не подготовились — какая уж там стерильность! В этом случае малейшее промедление, действительно, смерти было подобно.

Я вскрыл дыхательное горло и вставил трубку. Стали делать искусственное дыхание... и больной задышал.

Не могу забыть небольшую сценку. Сиделка, та самая, которая сказала, что человек уже умер, когда увидела, что он дышит, бросилась на колени и стала молиться. Вероятно, она тоже тогда подумала о «чуде». Как ни глубоко было только что пережитое волнение, я не мог не улыбнуться. Сиделка — медицинский работник, и ясно, что она не могла отнести благополучный исход за счет «божьей милости». Просто в этом поступке нашло выход чрезвычайно напряжение, которое владело всеми нами.

К счастью, такие случаи чрезвычайно редки, и я вспомнил о нем лишь потому, что разговор зашел о «чуде». Хирургия далека от шаблона. Разумеется, отступление от требования стерильности — наиболее редкое из всех возможных «чрезвычайных обстоятельств». И если уж врач решился на это, значит, действительно, другого выхода не было.

БЕЗ ШАБЛОНА

Примерно в два часа ночи меня вызвали в больницу. Такие вещи случались нередко, и потому я не удивился, когда фары больничного автомобиля осветили темные окна спящего дома. Однако поздний вызов всегда означает что-то неотложное.

И в самом деле, в отделение поступил юноша — десятиклассник из Рубцовска. Накануне последнего экзамена, как он рассказывает, у него появились сильные боли в спине. Потом прекратилось мочеотделение. Больной уверял, что это состояние длится уже семь дней. Пробовали помочь юноше введением катетера, резиновой трубки в мочевой пузырь, — не помогло.

Ясно, что деятельность почек прекратилась, они не осуществляли своей функции. Это очень опасное состояние носит название анурии. Оно может вызвать тяжелое осложнение — уремию, а в последствии и смерть.

Сделали рентгеновский снимок, который показал наличие камня в левом мочеточнике. Камень закупорил мочеточник. Но ведь должна же работать вторая почка. В чем дело?

В практике встречались случаи, когда закупорка камнем одной почки влекла за собой прекращение деятельности второй. Казалось бы, необходимо приступать к операции — удалить почку, тем более, что операция неотложна. Семь дней в том состоянии, в котором находился юноша, — это предел, граница между жизнью и смертью. Однако мы решили исследовать еще мочевой пузырь электроприбором цистоскопом — установили только одно устье мочеточника, второго не обнаружили. Вот так загадка! Оставалось предположить, что у больного всего одна почка. Пришлось срочно оперировать, извлечь камень из мочеточника: рассечь почечную капсулу.

При операции выяснилось, что эта единственная почка изменена

Значит, поступили правильно и избежали ошибки, которая могла оказаться роковой. Ведь удали мы единственную почку, могли потерять больного.

Исследовали больного через три недели. Предположение подтвердилось: второй почки нет.

Не знаю, как чувствуют себя моряки, благополучно избежавшие рифов, на которые ветер гнал их судно. Но могу предположить, что мое тогдашнее состояние было очень похожим на то, что переживают они.

Ясно, хирурга прежде всего интересует состояние здоровья больного. Но неправильно было бы думать, что профессиональный взгляд исключает простое человеческое участие, сострадание. Нам приходится встречаться с родственниками больного, отвечать на их вопросы и полные тревоги и надежды шлюды. Бывает, что познакомишься со всей семьей больного, близкими и дальними родственниками, узнаешь всю его биографию. Перед тобой на операционном столе не просто больная с таким-то заболеванием, а человек. У каждого свой характер, и с этим надо считаться. Психику больного надо щадить, внушать надежду на выздоровление.

Нельзя высказывать больному необдуманных советов и скоропалительных решений. В этой связи мне вспоминается один трагический эпизод, когда слова врача вызвали у больного тяжелое психическое заболевание.

Женщина, у которой мы при самом тщательном исследовании не могли установить заболевания, настойчиво требовала, чтобы ее оперировали и уверяла, что сильно больна уже более двух лет.

Оказалось, что врач поликлиники, которой больная пожаловалась на боли в животе, без всяких оснований безответственно объявила пациентке, будто у нее опухоль, киста в брюшной полости. С тех пор женщина почувствовала себя и в самом деле плохо, внушила себе, что глубоко больна. И что у нее опухоль в брюшной полости. Ни один врач не мог убедить женщину, что она ошибается и никакой кисты у нее нет. И нам, хирургам, женщина тоже не верила. Поместили ее в отделение, и она буквально, как говорится, ходила за нами по пятам и умоляла сделать операцию, избавиться ее от страдания.

Через неделю ее выписали. Но вскоре «больная» снова явилась и со слезами повторяла свою просьбу. Ясно, что у нее развился психоз.

Пришлось снова поместить в палату. Решили «лечить». Назначили, как полагается, доль операции, объявили ей, что будем удалять опухоль.

Положили на операционный стол, дали кратковременный эфирный наркоз. Сделали поверхностный кожный разрез, наложили на рану швы и повязку.

Когда больная проснулась, ей сказали, что операция прошла успешно, опухоль удалена.

На второй день женщина сказала, что наконец-то чувствует себя хорошо и со слезами на глазах благодарит нас за то, что вылечили ее от такой тяжелой и продолжительной болезни. Уходила она из больницы бодрая и довольная.

Однажды поступила девушка лет семнадцати в хирургическое отделение. В правой паховой области у нее воспалительная опухоль. Это не укладывалось в рамки обычных заболеваний. Принимаемые в течение десяти дней меры лечения результата не дали. Спрашиваем девушку, не припомнит ли она, что могло послужить причиной заболевания. Говорит, «не знаю».

Привели больную на рентген. Сделали снимок. Смотрим в пологи живота видим шесть гвоздей: четыре из них величиной 4—6 сантиметров, один — 10 и один — 12 сантиметров. Мы, естественно,

— и больной. Может быть, теперь она объяснит, в чем дело. Девушка была явно смущена, но продолжала говорить:

— Не знаю, ничего не знаю.

Вот так штука! Может быть, мы ошиблись. Но и второй снимок показал все те же гвозди. Мы были озадачены. Кому-то даже пришла в голову мысль, а не в диване ли, на котором лежала больная во время производства снимка, находятся эти гвозди. Положили на диван лечащего врача. Сделали снимок: нет, никаких гвоздей не видно.

Гвозди в брюшной полости! Но как они туда попали? Мы стали более настойчиво требовать у больной ответа на этот вопрос. И опять она молчала. Тогда я рассердился и пригрозил, что будем держать ее в рентгеновском кабинете до тех пор, пока не узнаем всей правды.

И девушка рассказала. Она обиделась на преподавателя немецкого языка за то, что он поставил ей двойку. Решила, видите ли, кончить жизнь самоубийством и проглотила гвозди.

Операция. Положение было серьезное — один гвоздь имел тенденцию выйти наружу, проколол стенку слепой кишки. Четыре гвоздя вышли во время подготовки к операции, два других пришлось удалить вместе с петлей кишечника.

Она поправилась.

Благодушие, невнимательность, говоря медицинским языком, врагу противоположны. Даже в самых, казалось бы, простых случаях ни один из нас не гарантирован от «фокусов» болезни. Подходящий к операционному столу — и весь настороже. Одной даже маленькой ошибкой можно наделать большую беду. Всякое хирургическое вмешательство надо считать серьезным в той или иной степени, каким бы простым технически оно ни казалось.

Вот сколько я за свою практику провел операций по поводу этого заболевания. Но и тут никогда не был гарантирован от неожиданностей.

Пришел отец больного мальчика и попросил посмотреть сына. Я поставил диагноз — острый аппендицит, осложненный абсцессом. Больной своевременно не обратился в больницу, и двенадцать пропущенных дней привели к такому осложнению.

Срочно на операцию!

Мой больной был единственным ребенком в семье, и я понимал тревогу отца.

Едва вскрыл брюшную полость, как меня обдало гнойной жидкостью. Тут только выяснилось, что гнойник не был ограничен зашитыми слайками, и потому вскрывать его было опасно. Гной разлился в брюшной полости. Это же неизбежный перитонит: воспаление брюшины, заражение крови...

Все это произошло в мгновение, гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. Так же быстро принял меры, чтоб удачно завершить операцию.

Мальчик поправился. Теперь уже и провожал удалившихся отца с сыном. И как же не похож был взгляд, которым отец обменялся со мной на прощанье, с тем, которым он провожал меня в операционную.

Возможно, мы увидимся еще когда-нибудь. И увиделись!

На днях встретил своего больного. Он врач, отец двух сыновей. А мало ли было таких встреч.

— Доктор, доктор! — Я слышу позади чей-то радостный голос. Оборачиваюсь. Ко мне спешит незнакомый мужчина. Может быть, он обознался. Однако, подходит ближе и продолжает улыбаться. Приглядываюсь, нет, мы как будто бы знакомы. Поямя мое недоумение, мужчина спешит объяснить:

— А помните, желудок мой ремонтировали.

Я вежливо улыбаюсь, но вспомнить все-таки не могу. Чудак, назвал приметку — желудок. Я их оперировал, может быть, сотня.

— Ну как же, — волнуется мужичина. — еще я приставал, говорю, режьте, один конец, муки такой больше терпеть не в силах.

Ну как же, как же, вспомнил. Действительно, был у меня такой пациент, Зимой 1948 года привезли больного лет тридцати. Он очень страдал, жаловался на резкие боли в подложечной области и в правом подреберье. Боли отдавались в спину. Частая рвота, иногда кровью. Успокаивался ненадолго, и то принимал вынужденное положение. Мужчина сильно похудел — шесть лет мучился.

На основании клинических исследований установлен диагноз — язвенная болезнь желудка, осложненная кровотечением.

Большой все время настаивал на операции и действительно говорил: «режьте — один конец». Но мы так же, как и хирурги Томска, Новосибирска, куда он обращался раньше, откладывали операцию из-за выраженного порока сердца. Оперировать было крайне опасно.

Что было делать? Взвесил я состояние больного и все-таки принял решение оперировать, так как желудочное кровотечение угрожало жизни молодого человека!

И вот мы стоим на улице и радостно смотрим друг на друга. В обычный вопрос: «Ну, как живете?» я выкладываю столько интереса, что сам поражаюсь своему волнению.

— Ничего, бегаю вот. Работаю.

— Как питаетесь?

— Нормально.

— Болей не чувствуете?

— Нет, что вы!

С тех пор мы встречаемся каждый год. Я повторяю все ту же «анкету» и получаю радующие ответы. Хороший вид моего знакомого служит к ним красноречивой иллюстрацией, и не знаю, кто из нас больше доволен этим.

А недавно в поезде встретил женщину, которая напомнила мне, что я удачно оперировал пять членов ее семьи, в том числе и ее.

Среди множества встреч не могу забыть и такую. Я увидел на улице женщину, лицо которой показалось знакомым. Но как ее здоровый, веселый вид не похож был на тот, с каким я ее запомнил, когда она поступила к нам в хирургическое отделение с разрывом матки.

Врач, принимавшая у этой женщины роды, была молода, неопытна и отправила больную санитарным поездом к нам в хирургическое отделение.

Прежде чем больная попала в операционную, с момента катастрофы прошло около двенадцати часов. Срок достаточный, чтобы получить заражение крови. Это был чрезвычайный случай, и все наше отделение с волнением следило за больной. Я сделал ей сложную операцию. Не отходил от постели больной, пока она не вышла из тяжелого состояния.

Врач, причинившая травму роженице, долго не появлялась, боялась получить неприятное сообщение, страшилась ответственности. Я ее вызвал, пожурил, сделал серьезное внушение.

И вот я снова повстречал свою больную. Мать многодетной семьи. Мы вспомнили прошлое, разумеется, в тех пределах, в каких я, врач, считал это возможным.

Всегда радуюсь таким встречам, как будто видишь родного человека.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

Это было давно, в 30-е годы. Тогда еще мы проводили обычные операции под общим эфирным наркозом. Надо было оперировать мальчика. Заболевание нетяжелое, и операция предстояла технически несложная, по поводу неспустившего яичка. Я не испытывал особого беспокойства — мне ассистировал опытный хирург, а наркоз давала опытная фельдшерица.

Все готово, больного положили на стол, я приготовил операционное поле.

Дали несколько капель эфира... и сейчас же поступил сигнал, что больной перестал дышать, сердце не работает. Сердце перестало биться от нескольких капель эфира. Срочно переключились на ожигание вводили сердечные средства, делали искусственное дыхание — ничего не помогало. Тогда решились на последнее — непосредственный массаж сердца через диафрагму. Вскрыл брюшную полость и рукой через диафрагму делал массаж сердца. Однако и это не дало результатов.

Восемь часов шла безрезультатная борьба за жизнь ребенка. Остановка сердечной деятельности, как показало патологоанатомическое вскрытие, произошла от нескольких капель эфира. Статустимид лимфатикус. Это особое состояние организма, когда он лишается возможности противостоять даже самым ничтожным внешним раздражителям, в том числе и эфира. Оно объясняется изменениями, которые происходят в вилочковой железе, в лимфатических железах и целом ряде желез внутренней секреции, и в сердечно-сосудистом аппарате. Это состояние трудно распознать, и счастью больных и врачей встречается оно чрезвычайно редко.

Но пусть будет медицинская наука несовершенна, пусть у меня есть какие-то оправдания, легче от этого не становится. Я отошел от стола и не знал, в какую сторону дальше двигаться. Хорошо бы сейчас выйти в запасную дверь. Хотелось побыть одному. Сознание своей беспомощности — страшная трагедия для хирурга, а потеря больного — большое горе.

Назавтра предстояло еще объяснение с матерью, которая должна была приехать со станции Алтайской навестить единственного сына после операции. И мы не находили слов, чтобы ее утешить.

Да, не розами усыпан путь хирурга. Правда, такие случаи исключительно редки, особенно сейчас, при нынешнем уровне развития медицинской науки. Но их и помнишь дольше, они оставляют глубокий неизгладимый след...

Да и победа, та победа, от которой пост все внутри, она дается большим трудом.

Я открою один небольшой секрет моим читателям. Надеюсь, что меня правильно поймут, и я не подорву престижа моих коллег. Мне настойчиво проповедуем правильный режим, предостерегаем людей от переутомления, ратуем за то, чтобы они работали в спокойной обстановке и т. д. А сами не придерживаемся этих правил. Нагрузка на нервы, мозг во время операции у постели больного немалые. Но кто осудит врача за это, если «нарушает» он свои же рекомендации во имя жизни и здоровья сотен людей. Такая уж профессия.

Как можно, например, если вы читаете и еще слишком увлекаетесь переживаниями своих героев. Посмотрите, на вас лица нет. Не волнуйтесь, в последнем акте ваш герой будет реабилитирован в глазах товарищей, правда раскроется, и справедливость восторжествует.

Не увлеченный ролью актер не заразит переживаниями героя и зрителей.

Точно так же я не мыслю у операционного стола хирурга, не зараженного идеей во что бы то ни стало помочь больному.

Бывают случаи, что родные больного, которого, несмотря на все усилия, не удалось спасти, обижаются на врачей и медицину вообще. Я не осуждаю их — в горе у человека бывает всякое. Но я всегда восхищался самоотверженностью медиков — своих товарищей по работе. Об этой самоотверженности написано немало.

Хочется рассказать один эпизод, услышанный от С. С. Юдина, выдающегося советского мастера хирургии, которому, кстати, я собирался посвятить несколько страниц в этих заметках.

Сергей Сергеевич присутствовал на заседании научного хирургического общества имени Пирогова в Ленинграде. На заседании врач одного из военных госпиталей демонстрировала больного, девятнадцатилетнего солдата.

Солдат поступил в госпиталь с повреждением печени — разрывом. Место повреждения было затампонировано сальником и ушито.

Через некоторое время в печени развился гнойник-абсцесс. Через операционную рану стали отходить омертвевшие куски печеночной ткани. Страдание больного осложнилось появлением второго гнойника — поддиафрагмального абсцесса. А затем наступило кровотечение — кровила печень. Содержание гемоглобина падало до 15—7 процентов, и наконец, достигло шести. Случай был крайне сложный — больной погибал, и врач проявила много умения и мужества.

Созвали консилиум, в котором участвовало шесть профессоров. Лечащий врач, следуя их советам, старалась облегчить страдания своего больного. За десять дней ему влили 15 литров крови. Общее количество крови у больного за короткий промежуток времени сменилось не менее четырех раз. По просьбе врача солдату привозили на самолете свежие овощи и фрукты из Крыма. В срочном порядке из Харькова доставили необходимый препарат. В общем, в борьбу за жизнь человека вступили многие.

Самоотверженность врача была вознаграждена. В состоянии больного наступил резкий перелом, юноша стал быстро поправляться. Врач сказала: она надеется, что скоро солдат снова вернется в часть.

После демонстрации, рассказывал Юдин, присутствующие устроили лечащему врачу овацию. Они увидели в ее усилиях, в ее отношении к больному человеку выражение характерных для советского врача черт: самоотверженности, большой душевности, высокой квалификации. Участники конференции понимали, что за отчетом, изложенным строго академично, стоят и бессонные ночи, и тревоги, и боль, и неудач.

Вместе со всеми врачу аплодировал и профессор Банайтис. — он сидел в президиуме. Через две-три минуты после доклада Банайтис почувствовал себя плохо, качаясь, вышел в коридор. Он жаловался, что ему не хватает воздуха, просил позвать к нему профессора Куприянова. Из зала заседания прибежал Куприянов, через несколько минут профессор Банайтис, талантливый хирург, скончался.

Этот случай напомнил мне стихотворение Семена Кирсанова «Творчество». Герой его, хирург, делает операцию на сердце. Операция сложная. Однако больной спасен.

Но когда товарищ лекарь,
Кончил это дело,
У него глаза закрылись,
Сердце онемело.

Врач спас больного, но спас ценою своей жизни.

Такой, в сущности, и была смерть профессора **Банайтиса**, который всю жизнь отдал тому, чтобы дольше бились чужие сердца. Зато его сердце остановилось намного раньше времени, остановилось неожиданно, на работе.

Я уже рассказывал, какие острые моменты приходится переживать у операционного стола. Надо быстро принять единственно правильное решение, призвать на помощь все свое мужество, все силы. Уверен, что если врача после сложной операции подвергнуть всестороннему медицинскому обследованию, то наверняка в его организме обнаружится большое отклонение от нормы...

Бывает, что, завершив операцию, отходишь от стола подозрительно медленно и не совсем по прямой. Кажется: все, наступил предел, и сейчас ты не способен даже халат самостоятельно снять. Но понадобится — и ты снова станешь в операционному столу и снова будешь молниеносно перебирать все известные варианты, чтобы выбрать тот единственный, который сейчас больше подойдет.

Мои коллеги, чем бы они ни занимались, всегда чувствуют себя, говоря языком военных, в боевой готовности номер один. Дома ли они, в кино ли, или гостит у знакомых, его не удивит поздний вызов в больницу. Его не оставляет мысль, как чувствует себя больной, которого он оперировал сегодня, вчера, позавчера, даже если тот сейчас находится под неусыпным надзором хорошего врача, опытных медсестер и заботливых санитарок.

НАДО ЗНАТЬ ЭТИ ИМЕНА

Когда мне предложили двухмесячную командировку в институт имени Н. В. Склифосовского, радовался так, словно получил большую награду. Впрочем, это недалеко от истины. Пойти учиться у выдающегося советского мастера хирургии действительного члена Академии наук СССР С. С. Юдина — это большое счастье, даже просто смотреть на его работу — наслаждение. Недаром всякий, даже очень квалифицированный хирург, бывая в Москве, стремится попасть в институт имени Склифосовского.

Иду по зимней Москве. Всюду встречаются афиши, одна другой заманчивей. Всякий сибиряк, не часто посещающий Москву, поймет мое чувство. Хочется успеть и в драматический театр, и оперу послушать — словом, столько соблазнов на каждом шагу, что остается лишь пожалеть, что поспеть всюду не хватит времени.

Однако сейчас я не задерживаюсь у афиш — бегу туда, где меня ждет самое великодушное зрелище, полное драматизма и высокого мастерства. Я спешу в институт имени Склифосовского. Командировочное в кармане, с Сергеем Сергеевичем Юдиным я знаком — значит, все в порядке. Меня ждет интересная учеба и масса богатых впечатлений.

Но мои восторги в самом начале несколько охладил не кто иной, как сам Сергей Сергеевич Юдин. Встретил он меня не очень приветливо. Я долго ломал голову над причиной такого приема и даже подумал: «Ладно, побуду неделю две-три и уеду».

Не пропускал ни одной операции, ни одной конференции и был,

разумеется, всегда в числе тех немногочисленных любителей, которые оставались в операционной Юдина до позднего вечера, пока академик сам не покидал ее. А Сергей Сергеевич со страстью человека, одержимого своим делом, мог не выходить из операционной до восемь-десять часов.

Понемногу отношение его ко мне потеплело. И я, поближе узнав его характер, понял, что попал, видимо, тогда в неудачную минуту. Сергей Сергеевич имел характер темпераментный, неуравновешенный, но был в высшей степени добрым и щедрым человеком. Кстати, прощание целиком компенсировало мне огорчение первых минут. Сергей Сергеевич провожал сибиряка с большой теплотой и подарил мне на память несколько своих книжек и фотографию, драгоценный подарок.

Помню, на исходе первого месяца моей практики он входит в операционную и, если не находил сразу меня, спрашивал у присутствующих, здесь ли я.

Даже накануне Нового, 1953 года Сергей Сергеевич был в клинике, делал две очень сложные операции. Одна — полное удаление желудка и части пищевода по поводу ракового процесса, вторая — резекция желудка по поводу язвы. Оперировал он артистически.

Когда закончил, взволнованный, взвинченный подбежал к женщине-врачу, ассистировавшей ему, поздравил ее с праздником, поцеловал руки у медсестры и санитарки и убежал.

Хорошей школой были утренние конференции, на которых председательствовал С. С. Юдин или кто-нибудь из его помощников. На конференциях дежурные врачи докладывали о вновь поступивших больных, об экстренных операциях, о тяжелых больных. Говорилось здесь о новинках в хирургии, отмечались ошибки. Конференции были поучительны и интересны.

Чрезвычайно сложны реконструктивные операции на пищеводе. К тому времени, когда я был в институте имени Склифосовского, их там было проведено больше шестисот, причем четыреста шестьдесят из них — С. С. Юдиным. Мне посчастливилось присутствовать на этих операциях. Об одной хочется рассказать.

От химического ожога у больного произошло сужение пищевода в среднем и нижнем его отделах. Пища по пищеводу почти не проходила, застревала, надо было спасать от верной гибели. Сергей Сергеевич провел операцию виртуозно.

Операция проводилась под спинно-мозговой анестезией цитоккаином и протекала безболезненно. Юдин вскрыл брюшную полость и взял петлю тонкой кишки. Пользуясь особой методикой, освободил ее от остальных отделов кишечника. Затем один конец освобожденной тонкой кишки, висящий на брыжейке (тканевом фартуке с питательными сосудами), соединил с кишечником. Другой конец хирург провел через подкожный туннель, сделанный специальным кобальтовым инструментом на передней поверхности грудной клетки слева. Пройдя туннель, второй конец кишки, таким образом, вышел к верхнему отделу пищевода на шею и пока был оставлен в таком положении.

Через некоторое время больному сделали вторую операцию. На этот раз часть пищевода, расположенная на боковой поверхности шеи, была соединена с выведенной на шею кишкой. Она стала нести функцию пищевода.

Операция сопровождалась рядом трудностей. Петли тонкой кишки, предназначенная для замены пищевода, оказалась короткой

Поэтому при проведении ее в туннель, она и ее брыжейка могли ущемиться, кишка могла омертветь.

Сергей Сергеевич решил удлинить брыжейку при помощи надставки сосуда. Юдин перерезал крупную ветвь артерии брыжейки и между ее отрезками вставил отрезок консервированной бедренной артерии. Соединялись сосуды при помощи механического аппарата — шпигателя. Таким образом, брыжейка была удлинена на 8—10 сантиметров, и кишка свободно, без натяжения, пролегла в туннеле. Операция закончилась успешно.

Вообще операция на пищеводе — одна из сложнейших. Советские хирурги немало потрудились над тем, чтобы ее обезопасить, и добились таких результатов, каких еще не существовало в мире. Сейчас количество операций на пищеводе исчисляется многими сотнями.

Я порой недоумеваю по поводу того, что имена выдающихся врачей-ученых мало известны в немедицинской среде. Мне это кажется несправедливым. Иная девушка знает любого киноактера, хотя бы дважды появившегося на экране, может ответить на все анкетные вопросы о нем. А спроси ее автора самого распространенного в медицине метода — не скажет. Здесь, очевидно, сказываются недостатки образования и небольшое количество популярной литературы о медицине.

Кому неизвестно, например, что сейчас многие операции проводятся под местным обезболиванием. Однако немногие, очевидно, знают, кому мы обязаны этим.

Творцом местной анестезии является Александр Васильевич Вишневский. Его новаторское предложение производить обезболивание новокаиновым раствором сейчас общепризнано и применяется во всех больницах.

Метод обезболивания, предложенный Александром Васильевичем, названный им методом тугой ползучей инфильтрации новокаиновым раствором, основан на принципах футлярного построения организма человека, на постоянной наводнении тканей новокаиновым раствором. При этом способе происходит блокада нервов, подавляется их чувствительность, и операции проходят безболезненно.

Взгляды Вишневского на механизм ряда заболеваний, как нервного дистрофического процесса, весьма ценны и оригинальны. Новатор предложил целый метод патогенетической терапии — новокаиновую блокаду и бальзамические антисептики.

Я познакомился с А. В. Вишневским в 1931 году в Казани, в Институте усовершенствования врачей. Александр Васильевич был тогда на положении «непризнанного», но представлял уже огромным убедительным материалом, подтверждающим правильность его теории.

В полемике со своими оппонентами Александр Васильевич был резок, во всем, что касается интересов науки, проявлял горячность.

Когда мы познакомились немного поближе, я советовал ему:

— Зачем вы так резко выступаете, будьте сдержаннее.

На это он отвечал:

— Все равно мне теперь уже не перестроиться! Я не могу быть спокойным за судьбу местной анестезии.

Он был убежден в своей правоте, и его сердили люди, которые своими возражениями оттягивали широкое распространение его метода.

А. В. Вишневский — блестящий хирург. Мы, врачи, съехавшиеся в институт из разных городов, были свидетелями многих операций, ко-

торые он провел под местной анестезией. После шрапнтки у нас не оставалось никакого сомнения в том, какой ценный вклад делает ученый-новатор в науку.

К исходу учебы мы все были увлечены методом Вишневого.

Прощались трогательно. В общежитии врачей устроили небольшой банкет и пригласили Александра Васильевича и его ближайших помощников. Выпустили даже стенную газету. Среди нас не оказалось человека, владеющего техникой стихосложения, но общими усилиями мы все-таки одолели следующие строчки, адресованные Вишневскому:

Твой ползучий инфильтрат
Не раз я видел, а — стократ,
Он по окраинам поползет,
Его врач каждый увезет.

Погрешив против размера и других поэтических требований, мы все-таки точно выразили наше настроение. Разъехались по местам яркими сторонниками и пропагандистами передового метода.

Много лет спустя я встретил Вишневого на 25-м съезде хирургов. Он был уже академиком, работал в Москве, Александр Васильевич сидел в президиуме, и я постеснялся к нему подойти, да и сомневался, помнит ли он меня. Встретились случайно в перерыве.

— Ты что же, старый приятель, не показываешься? — ласково пожурил он. Вишевский пригласил побывать в его клинике, и я, разумеется, не заставил себя ждать. Клиника, ее оборудование, размах работы произвели на меня глубокое впечатление.

«БОЛЬШАЯ ХИРУРГИЯ» НА АЛТАЕ

Незабываемые дни пережил всякий врач, которому удалось побывать в ведущих клиниках страны, познакомиться с творческой работой знаменитых хирургов.

Но, возвращаясь домой, мы не испытываем сейчас ощущения, словно оступились с небес на землю.

Советские хирурги овладели совершенной техникой сложных операций на различных органах человеческого тела и проводят их не только в столичных клиниках, но и в обычных больницах периферии.

Было время, и еще сравнительно недавно, когда у нас в Барнауле не проводились сложные операции на сердце, легких, органах средостения. Больных, нуждающихся в таких операциях, мы направляли в другие города, где были более оснащенные клиники. У нас же для этого не было технических возможностей.

С организационной медицинской института на Алтай пришла «большая медицина».

Хирургическое отделение железнодорожной больницы, где я работал долгие годы, превратилось в клиническую базу кафедры факультетской хирургии. Оперативное отделение оснащено новейшей аппаратурой: аппаратами для интратрахеального наркоза, инструментами для операций на органах грудной клетки, брюшной и грудной полостей и конечностей, а также для пластических операций.

С приходом клиники изменилась методика оперирования на органах брюшной полости, щитовидной железе. Причем, такие операции применяются теперь в гораздо больших масштабах.

Ведет кафедру факультетской хирургии профессор института доктор медицинских наук Израиль Исаевич Неймази. Израиль Исаевич — эрудированный, талантливый хирург, опытный клиницист и диагност.

Не менее важно для руководителя клиники иметь вкус к новому, способность организовать работу большого творческого коллектива. Профессор Неймарк счастливо сочетает все эти качества.

Хирургическая работа в отделении расширилась и усложнилась. В больших масштабах стали проводиться операции на легких, сосудах, на желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе.

Научная жизнь сотрудников клиники и ординаторов бьет ключом, проводятся научные конференции, заседания научного общества хирургов.

Здесь проходят хорошую практическую и научную школу будущие врачи — студенты медицинского института.

Заглянем в операционную клинику, внимательно посмотрим, как сложно и ответственно то, что здесь происходит.

Мне бы хотелось познакомить моих читателей с рядом молодых способных хирургов, работу которых я неоднократно наблюдал и восхищался ею.

Мне очень нравилось, например, смотреть, как искусно, «ажурно», работает доцент Антонина Кузьминична Тычинкина. Антонина Кузьминична — человек вообще обаятельный, с разносторонним образованием. Но полной мерой узнаешь красоту этого человека, когда наблюдаешь ее в операционной.

Однажды к Тычинкиной попал больной, который в течение нескольких лет страдал от того, что на внутренней поверхности нижней трети голени у него была трофическая длгогезаживающая язва. Антонина Кузьминична сделала закрытие язвы кожной пластиной по разработанной ею методике. Больной выписан здоровым.

Доцент Тычинкина увлекается сложными оперативным вмешательством на легких и костях и делает большие успехи.

Студенты любят Антонину Кузьминичну за интересные занятия и товарищеское обращение, с благодарностью думают о «своем докторе» те, кто лечился у Тычинкиной.

Трехлетняя девочка К. сама не сможет рассказать ни о своей болезни, ни о том, кто и как ее лечил. Но родители девочки вряд ли забудут женщину, которой обязаны выздоровлением дочери.

Сколько горя принесла девочка матери своей болезнью. Она родилась с опухолью на крестце, росла очень нервной, легко возбудимой, и когда плакала, опухоль увеличивалась.

Только удачно проведенная операция избавила девочку от врожденной спинно-мозговой грыжи, а родителей — от постоянных тревог за состоянием дочки и ее будущее.

Несмотря на молодость ассистента Льва Николаевича Камардина, я назвал бы его зрелым хирургом. Он мастерски проводит сложные операции на щитовидной железе и желудочно-кишечном тракте. Он большой специалист по интратрахеальному наркозу, борьбе с шоком и клинической смертью.

Представьте себе: у человека во время операции прекращается дыхание и сердце перестает работать. Наступает клиническая смерть.

Надо различать клиническую смерть и следующую за ней биологическую или естественную смерть. Под клинической смертью следует понимать тот период умирания человека, когда сердечная деятельность и дыхание уже прекратились, но жизнь организма не угасла, человека еще можно вернуть к жизни, обменные процессы в тканях происходят, хотя и на чрезвычайно низком уровне. В этот период можно активно вмешаться и восстановить все жизненные силы организма.

Клиническая смерть может наступить при различных состояниях организма, когда жизненные функции снижены до предела и угасают

как это бывает при травмах и ударах электротока, паркозе, операциях и в ряде заболеваний. Изучение этой проблемы чрезвычайно важно в борьбе за жизнь больного.

Я расскажу об одном случае, когда оживление, борьбу с клинической смертью вел А. И. Камардин.

В октябре 1958 года в гинекологическом отделении оперирована больная с гигантской кистой яичника. Операцию под эфирно-кислотным наркозом производил профессор М. О. Цирульников. Вскрыв брюшную полость, профессор обнаружил кистозную опухоль огромных размеров — она заполнила всю брюшную полость. Общий вес ее, как потом установили, составлял 30 килограммов. Вывести опухоль было невозможно. Выделить кисту удалось только после того, как сделали пункцию опухоли и добыли четырнадцать литров геморрагической жидкости.

Во время операции у больной наступило падение артериального давления, пульс исчезал. Появилось состояние, когда нарушается направляющая, координирующая деятельность высшего центра нервной системы — коры головного мозга, наступает расстройство дыхательной, сердечно-сосудистой и других функций организма.

С помощью сердечных средств больную удалось вывести из такого тяжелого состояния: кровяное давление повысилось, улучшилось наполнение пульса. Операция продолжалась.

Когда же операция была завершена, у больной исчез пульс, артериальное давление не определялось, дыхание и сердечная деятельность прекратились — наступила клиническая смерть.

В состоянии клинической смерти больные живут недолго. Каждая секунда дорога, все силы мобилизуются на то, чтобы быстро восстановить дыхание, заставить работать сердце.

Точнее: срок спасательных действий — пять-шесть минут. Кроме того (как учит известный ученый профессор Неговский, много поработавший по созданию способов оживления человека), каждые первые минуты неравноценны последующим.

Можно себе представить, каковы были эти шесть напряженных минут для Камардина, ассистировавшего профессору Цирульникову.

В условиях оживления сердце неподвижно, кровь в ткани не поступает, и в них накапливаются ядовитые продукты жизненного обмена, наступает кислородное голодание в тканях. Органы человека перестают выполнять физиологические функции, и в таких случаях необходимо срочно разрешить важную задачу — восстановить дыхание и деятельность сердечно-сосудистой системы. Дыхание восстанавливается искусственным путем. Оно проводится при помощи особых аппаратов. В легкие вводится воздух, кислород, кровь насыщается кислородом, и ткани начинают жить. Побуждаются к жизни дыхательные центры, сердечно-сосудистая система.

Кровь вводится в артерии и вены — обычно в сосуды руки под особым давлением. Сердце, получив питание, начинает сокращаться, кровь поступает в органы, подводится к органам по сети отходящих от сердца сосудов. И понятно, что когда подается кровь к мозговым центрам, они начинают питаться, восстанавливается мозговая деятельность, как и деятельность других органов.

Неговский рекомендует переливать кровь в вены после введения прови в артерии, когда сердце уже работает и увеличивается количе-

ство циркулирующей крови по всей сосудистой системе. В некоторых случаях в сердце для возбуждения его деятельности приходится вводить адреналин.

Искусственное дыхание больной проводилось специальным аппаратом.

В поединке со смертью врачи победили!

У больной восстановили активное дыхание и сердечную деятельность. Женщину вывели из состояния клинической смерти. Оживление проводилось в течение часа.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Через двенадцать дней после операции больную выписали в хорошем состоянии.

Другой представитель хирургической молодежи врач Е. С. Редько увлекается методикой определения состояния сердца и магистральных сосудов и ангиокардиографией. Он свободно владеет этим исключительно интересным способом диагностики заболеваний сердца и магистральных сосудов.

Я наблюдал, как врач Редько проводил зонд в сердце и в сосуды, проводил ангиокардиографию.

При помощи этой методики можно диагностировать врожденные и приобретенные пороки сердца и крупных сосудов. Такие, как например, перазарщение сосуда, сообщающего легочную артерию с аортой (Баталов проток). При этом врожденном пороке сердца происходит смешение крови артериальной и венозной. При зондировании сердца можно также обнаружить такой порок развития сердца, когда имеется отверстие в перегородке между желудочками сердца и происходит сообщение правой и левой половин сердца. Можно определить сужение легочной артерии, имеется возможность судить о состоянии легочных сосудов и делать заключения о необходимости оперативного вмешательства.

Этот метод позволяет уточнять диагностику заболевания легких (рак, абсцесс, туберкулез) и делать предсказания об исходе заболевания. Можно определять состояние газообмена, кровяное давление в различных отделах сердца и крупных сосудов и получить кровь для определения газового состава.

Как практически выглядит зондирование? Специальный зонд вводится в сердце и крупные сосуды через вену руки. Затем через зонд в отделы сердца и отходящие от него сосуды вводится контраст (особое вещество) и производятся рентгеновские снимки. Обычно вся процедура производится в рентгеновском кабинете.

В феврале нынешнего года я присутствовал при зондировании сердца и магистральных сосудов. У пожилого больного предполагалась опухоль правого легкого. Метод зондирования подтвердил это. Об опухоли можно было судить на основании характерных изменений в сосудах, полученных при зондировании.

Между прочим, другие методы исследования: рентгенографии, рентгеноскопия не могли дать точных данных для диагноза.

В другом случае, тоже у пожилого человека, Редько зондировал сердце. Сделан был снимок легких. Данные зондирования и контрастные снимки дали основание установить опухоль правого легкого и пневмосклероз и заключить, что от операции следует воздержаться. Оперативное вмешательство для такого больного крайне опасно.

Молодежь в клинике работает под руководством опытных мастеров, которые щедро передают ей свои богатые знания и опыт.

Здесь проходят школу будущие врачи. Студенты медицинского института, в общем — народ любознательный и серьезно относящийся к избранной профессии.

Работая ассистентом клиники кафедры факультетской хирургии, я очень охотно занимался со студентами. Мне нравились их интерес к науке, стремление постичь все новое: студенты с большим вниманием слушали рассказы о моих наблюдениях из практической деятельности.

Я был требовательным и строгим преподавателем. Считаю, что участие в обучении и формировании будущего врача — дело важное. Пусть сразу привыкают к тому, какую ответственность возьмут в руки вместе с дипломом. Важные задачи здравоохранения может решать только образованный врач.

Преподаватели заставляют студентов самостоятельно поразмыслить у постели больного, учет правильно разбираться в сложных вопросах диагностики и лечения.

Однако у требовательного преподавателя всегда теплое сердце, когда он видел, с каким глубоким интересом студенты ассистировали хирургам на показательных операциях, как огорчались они, если почему-либо приходилось покидать клинику.

Литературная запись Э. Александровой.

(Окончание в следующем номере).

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО КРАЯ

ПОХОД ОТРЯДА П. Ф. СУХОВА

Петр Федорович Сухов — шахтер Кальчугинских копей (ныне Ленинский рудник). Родился он в семье служащего Верхнеуральского завода в 1884 году. Учился в гимназии, из которой был исключен за политическую неблагонадежность. Активный участник революционных событий 1905—1907 годов. Впечатлительный и любознательный, он активно реагировал на тяжелую, подневольную жизнь рабочих, эксплуатируемых капиталистами. Эту жизнь он и сам познал с ранних лет.

— Кровососы пауки-капиталисты живут и жиреют нашими потом и кровью, — говорил Сухов.

«Бить их надо, бить до полного уничтожения, чтобы землю нашу очистить от капиталистической нечисти, чтобы счастье свое на земле имел трудовой человек» — таким стремлением была наполнена вся жизнь Петра Сухова.

На фронте первой мировой войны Сухов вступил в партию большевиков, рассказывал солдатской массе правду о войне и о путях ее превращения в войну гражданскую. Он участвовал в Февральской буржуазно-демократической революции.

Вскоре после Февральской

революции Петр Сухов, уже сформировавшийся большевик-ленинец, прибыл в Кальчугино и сразу же принял деятельное участие в создании Совета рабочих и крестьянских депутатов из сторонников Апрельских тезисов Ленина и в организации Красной Гвардии при Кальчугинском Совете. После победы Великой Октябрьской социалистической революции Сухов — секретарь Совета рабочих и солдатских депутатов в Кальчугино и член местного штаба Красной Гвардии. Ветераны социалистической революции и защитники завоеваний Октября хорошо помнят его, убежденного большевика-ленинца, страстного оратора, «задевающего за душу», и умелого организатора масс.

В 1918 году Сухов — организатор и командир красногвардейского отряда, во главе которого он участвовал в установлении Советской власти в Кальчугино. Затем отряд вел первые тяжелые бои против превосходящих сил чехословацкого корпуса, спровоцированного американо-английскими империалистами на контрреволюционный мятеж. В упорных, кровопролитных боях отряд Сухова в штык прорвался через Салаирский хребет и 11 июня

1918 года прибыл на помощь сражавшимся против белогвардейцев и чехословаков красногвардейским отрядам города Барнаула.

Белогвардейские чехословацкие войска в ночь с 25 на 26 мая 1918 года, свергнув Советскую власть в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск) продвигались к Барнаулу. Против них вели тяжелые бои отряды Алтайской Красной Гвардии.

Особенно упорные и кровопролитные бои шли на станциях Черепаново, Евсино и на реке Чумыше. Но силы были неравные. Враг имел большое превосходство в живой силе, опыте ведения боев и вооружении. Красногвардейские отряды с большими потерями отступали к Барнаулу. В отдельные периоды создавалось весьма критическое положение, грозящее полной гибелью всем красногвардейцам.

Так, например, на станции Черепаново нужно было загордить пути эшелонами, задерживать белых и обеспечить организованный отход для занятия более удобных позиций красногвардейцами. Машинисты, настроенные меньшевиками и эсерами враждебно к Советам, отказались проводить эту операцию. Из трудного положения красногвардейцев выручил Иван Долгих. (Иван Иванович Долгих — командир одного из красногвардейских отрядов, жестяник по профессии. Прославился своим бесстрашием, большой физической силой). Он решительно потребовал от начальника станции эшелонов. А когда тот заявил, что у него нет на это разрешения. Долгих с револьвером в руках резко сказал: «Тут полторы тысячи людей могут погибнуть, а тебе разрешение потребовалось! Вот тебе разрешение! Выбирай: или смерть или эшелоны».

Эшелоны были предоставлены.

Другой пример. На реке Чумыше барнаульский и бийский

красногвардейские отряды и отряд конной милиции шесть дней прочно удерживали свои позиции. У бийского отряда была «артиллерия» — 3 пушки времен Екатерины II, «Катюши», как их называли красногвардейцы. Своим громом они вводили белогвардейцев в заблуждение.

На седьмой день боев изменила конная милиция. Нависла угроза окружения и уничтожения бийского красногвардейского отряда, к тому же белые сумели отрезать и барнаульцев. Командование Красной Гвардии предприняло удачный маневр. Ночью с соблюдением всех предосторожностей красногвардейцы снялись с позиций, ушли на другое место и неожиданно напали на белых. Завязался ночной бой. Застигнутые врасплох, белые большей частью были уничтожены.

Однако общая обстановка ухудшалась с каждым днем. В Семипалатинске и других пунктах Советская власть была свергнута. В Барнауле в ночь на 11 июня подняли мятеж белогвардейцы. Мятеж был подавлен. В самую критическую минуту на помощь Алтайской Красной Гвардии пришел красногвардейский отряд калычугинских шахтеров под командованием П. Ф. Сухова. Но превосходство в силах было на стороне белочехов и белогвардейцев. Они заняли станцию Алтайскую и район железнодорожного моста на реке Оби. По Барнаулу была артиллерия. В селе Гоньбе, в 30 км от города, чехи высадили крупный десант, прибывший на пароходе из Ново-Николаевска под командой полковника Буткевича, и начали продвижение на Барнаул.

Белые сосредоточили крупные силы и начали окружать город. Положение защитников Барнаула все более ухудшалось. Создалась угроза полного окружения. Штаб Красной Гвардии принял решение оставить город и отходить на Омск. В ночь с

14 на 15 июня первая очередь красногвардейских отрядов в количестве 2 тысячи человек во главе с партийными и советскими руководителями Алтайской губернии Ирисьягиным, Цапленным и Казаковым в эшелонах выехала на станцию Алейская для дальнейшего следования в город Омск. Остальные красногвардейцы под командой Сулима и Долгих и отряд интернационалистов-мадьяр должны были выехать из Барнаула утром 15 июня. Но к утру белые сократили кольцо окружения Барнаула между станциями Барнаулом и Алтайской. Отряд мадьяр под командой большевика Оскара Гросса решительным ударом прорвал кольцо белых в районе больших кирпичных сараев и этим самым обеспечил выход остальных красногвардейских отрядов из окружения.

На станции Алейской стало известно, что из Семипалатинска под напором беляков также отходит в нашем направлении красногвардейский отряд под командованием Трусова. Одновременно поступило допесечение о том, что отряд мадьяр, обеспечивший выход Красной Гвардии из окружения в Барнауле, сам попал в плен в окружение превосходящих сил врага и понес огромные потери. Из отряда в живых осталось несколько человек во главе с командиром.

В Барнауле начался кровавый разгул. Белогвардейцы и чехословаки, как псы, носились по городу, хватали каждого встречного и тащили в дом купца Поскотникова, где чинили дикую расправу над людьми. Созданы были из уголовников, сынков купцов и капиталистов отряды погромщиков, которые творили чудовищные зверства над семьями рабочих и активистов, ушедших с Красной Гвардией.

Командование красногвардейских отрядов, находящегося на ст. Алейской, организовало массовый митинг, на котором обсуждался один вопрос: «Как

быть дальше, куда идти?» Долго и бурно шло обсуждение вопроса. Активно и обстоятельно советовались красногвардейцы со своими боевыми руководителями. Были и малодушные, которые предлагали бросить все и разойтись. Наконец, по предложению Цапленного, было вынесено решение — пробиваться из Омск. Однако многие не согласились и решили идти по домам. Они поддались паникерам, кулацким и эсеровским крикунам и подпевалам, которые кричали: «Все одно не удержаться! Разоружит нас в пешую! По домам надо загаяи подаваться. Здоровье будет!».

Как впоследствии вспоминал Сухов:

— Тяжело было смотреть на отколовшихся. Но и судить их строго было нельзя. Это была необстрелянная, незакаленная часть отряда, главным образом, из сел, не испытавшая на своем опыте ужасов белогвардейщины. Их неудержимо тянуло в родные деревни, к обычной крестьянской работе. Они совершали роковую ошибку, что шли за кулацкими и эсеровскими прихвостнями.

Их разоружили. Они молча, не глядя ни на кого, сдали оружие и, даже не протестуясь, разошлись в разные стороны. Часть из них, не доходя до дома, была схвачена беляками или чехословаками и зверски избита или уничтожена. Так они познали кулацкие и эсерские заговоры о том, что «здоровье будет, если разойтись».

В отряде осталось около 700 человек. Это были настоящие бойцы, большевики-денинцы, имевшие ясную цель борьбы за счастье трудового народа. Был избран штаб и командир отряда.

По предложению коммунистов, общее собрание красногвардейцев избрало членами штаба Сухова, Сулима, Долгих, Трусова и одного железнодорожника, фамилия которого осталась неизвестной.

Командиром отряда стал Су-хов Петр Федорович.

Было решено пробиваться из Омска, а оттуда на Урал, на соединение с регулярными частями Красной Армии. Отряд направился по разработанному маршруту.

Впереди отряда понеслась распространяемая врагами и их агентурой гнусная ложь про красногвардейцев. Кулачество, торгаша, попы и их эсеро-меньшевикская агентура сеяли среди населения недоверие и ненависть к отряду. Как только их клонстали! Идет будто бы какой-то многотысячный красногвардейский отряд и грабит, убивает всех, насилует женщин и девушек, не щадит и малолетних девочек.

Население, напуганное этим, кинулось прятать свое имущество, скот, само стало прятаться. В селе Боровском, через которое отряду предстояло пройти, кулаки и поп собрали сход и предложили обсудить вопрос о том, как встретить непрощенных гостей, т. е. красногвардейский отряд. Предложили дать бой. Местные большевики разоблачали, как могли, эту гнусную ложь и провокацию, но склонить сход на свою сторону не могли. Сход решил бы так, как советовали кулаки и поп, но в это время в село прибыл отряд красногвардейцев. Ничего не тронул. Кулацко-поповская ложь была полностью разоблачена.

В селе Серебрянково кулачье спонло своих подпенал и подговорило их сорвать представленные подвод красногвардейскому отряду. Здесь была сильная большевикская ячейка, она разоблачила и сорвала заговор кулаков. Особенною активность проявили в этом члены ячейки Кротов, братья Трофимовы, Оноприенко и Иванов.

Придя в село Мостовое Каменского уезда, отряд расположился на отдых с соблюдением всех мер предосторожности. Вы-

ставили усиленные караулы и разьезды. И сделали это кстати, так как ночью каменский отряд белогвардейцев в количестве 200 человек напал на красногвардейцев. В результате короткой, но жаркой схватки белогвардейцы почти все были уничтожены.

Не доходя до города Камня, Присягин Иван Вонифатьевич, Цаллин Матвей Константинович и Казаков Михаил Кириллович под видом землемеров отправились на разведку в Омск. Держали связь с отрядом. Через несколько дней потерялись. Послан был на розыски член штаба Долгих с группой красногвардейцев. На подходе к селу Карасук отряд догнал член Панкрушихинской подпольной большевикской ячейки Федоров и сообщил, что Цаллина, Присягина и Казакова поймали кулаки и белогвардейцы и увезли в Барнаул.

Впоследствии было установлено, что они, выдавая себя за землемеров, дошли до села Панкрушихи. Здесь их опознал панкрушихинский учитель эсер Филимонов и выдал белогвардейцам.

Товарищи Присягин, Цаллин и Казаков были в ночь на 14(27) сентября 1918 г. расстреляны белогвардейцами в Барнаульской тюрьме.

Командование и партийная организация отряда провели митинг и призвали бойцов к стойкости, бдительности и храбрости в борьбе с врагами Советской власти.

Дойдя до села Травного, командование отряда получило сообщение о том, что Омск захватили белые войска Временного Сибирского правительства и что со станции Татарской, из Камня, Семипалатинска и Змеиногорска направлены крупные силы белогвардейцев с задачей окружить и уничтожить красногвардейский отряд. Отряд оказался снова в тяжелом положе-

нии. Ясно было, что движение на Омск исключено.

На совещании штаба с командирами подразделений было принято решение повернуть на юг и двигаться в Горный Алтай и затем в Монголию, где со-зраться с силами, развернуть партизанское движение в тылу врага, соединиться с Красной Армией Туркестанского фронта.

Отряд пошел к Ленькам, что в 30 км восточнее Кулундинского озера в Славгородском уезде, где встретился с белыми, завязался упорный бой, длившийся весь день. Белые были наголову разбиты. Отдыхали в Леньках два дня. Полностью уничтожили офицерский добровольческий отряд у села Вознесенского. Из документов, взятых у захваченного в плен офицера, было установлено, что Сибирское буржуазное правительство для уничтожения красногвардейского отряда Сухова направило офицерский добровольческий отряд, батальон чехов, сотню киргизов и две сотни казаков и белогвардейские отряды из Камня и Славгорода.

Командование разработало план разгрома белогвардейцев по частям, чему способствовало то обстоятельство, что чехи шли из Барнаула, киргизы, казаки и офицерский отряд выехали в разные дни из Семипалатинска. Нужно было разгромить их ранее, чем они успеют объединиться. Офицерский отряд уже был разбит под селом Вознесенским. Калачьи сотни были разгромлены красногвардейскими кавалеристами под командованием Долгих у деревни Усть-Кучук.

Чехи и киргизская сотня напали на красногвардейский отряд снова в Вознесенском. Красногвардейцы отступили в село Малышев Лог. Здесь закрепились. Завязался упорный бой.

Его исход в пользу красногвардейцев решил кавалерийский отряд Долгих, который возвращался к главным силам

из Усть-Кучука и как раз успел вовремя.

Оставшиеся в живых белые в панике бежали частью к Семипалатинску, частью по линии железной дороги на Барнаул.

Красногвардейский отряд потерял в этих боях около сотни человек убитыми и ранеными. Среди убитых был член штаба Трусов, которого похоронили в селе Кабанье (Вострово). Захвачены трофеи: около тысячи винтовок, два десятка пулеметов, около трех десятков тысяч патронов, до двух тысяч гранат и много другого военного имущества. Путь в Горный Алтай был открыт.

Дальше пошли без боев. 16 июля прошли юго-восточную часть Барнаульского уезда, Змеиногогорский, вступили в Бийский уезд и начали продвигаться по Горному Алтаю. Была небольшая стычка с белоказаками под селом Малым Башцелаком.

«Что бы это могло значить, — рассуждали в отряде, — что белогвардейцы оставили нас в покое?»

Впоследствии выяснилось, что белые в это время стягивали войска, которые окружили отряд, когда он 19 июля вошел в село Тележиху (ныне Солонешенского района), расположенное в горах.

В бою под Тележихой против четырехсот белых добровольцев, прибывших из Ново-Николаевска, и четырех сотен казаков под общим командованием полковника Волкова сражались около шестисот красногвардейцев под командой Сухова, Сулима, Долгих и других командиров.

Коммунисты отряда в первый же день приезда в село развернули среди населения Тележихи большую разъяснительную работу по программе Коммунистической партии, ее конечной цели, рассказывали о В. И. Ленине, о Советской власти, разоблачали кулацко-поповские сказки о красногвардейском отряде. Говорили горячо, убедительно и,

главное, очень понятно. Многие, неясное до этого, стало понятным для граждан Тележихи.

Навсегда запомнили они слова, сказанные на мигинге Суховым:

— Пусть нас разобьют, пусть мы погибнем, но дело-то наше останется. Дело-го наше нельзя убить. Наше дело — это дело всего народа. Убить его — это значит, убить весь народ. А это сделать невозможно... Мы, большевики, верим в свое дело — оно непобедимо. Мы верим в свой народ и любим его, ибо он соавдатель всех ценностей, строитель всей жизни... Мы знаем, что наше дело разгорится в огромное пламя... Весь народ поднимется за свое счастье. Народ ведет и поведет за собой к коммунистическому счастью наша родная большевистская ленинская партия. Это время близко... Ленинское святое дело бессмертно, оно восторжествует!

К вечеру отряд покинул село, но прорваться через белогвардейское окружение не смог. Занял вокруг села оборону. Начался неравный бой, который длился три дня.

Гремела артиллерия, трещали десятки пулеметов. Цепи противника то подходили вплотную к селу, то откатывались назад. Белые обстреливали село из артиллерии. Начались пожары. Много было разрушено построек, убито скота, птицы. Были убитые и раненые среди населения. Белые несли большие потери. У красногвардейцев было несколько раненых.

Увидев бесполезность своих усилий, белогвардейцы пустились на хитрость, они послали к красногвардейцам парламентария с предложением о сдаче. «Сдавайтесь, — писали они, — выхода для вас нет, вы окружены превосходными силами правительственных войск. К чему бесполезно лить братскую кровь? Не сдадитесь — все будете расстреляны».

Штаб отряда ответил: «Волк

ваш брат, а не мы... Если можете, разбейте нас, а сдаваться вам в плен без боя не намерены».

Однако боеприпасы были на исходе, воевать было нечем. Угроза гибели становилась явной. Штаб решил уходить. Тяжело раненных и больных оставили в селе под присмотром фельдшеров и сестер, надеясь, что казаки их пощадят. В этом оказалась неопытность командования отряда.

С проводником-охотником Федором Бобарыкиным отряд двинулся на труднопроходимую гору Будачиху. Участок горы, куда ночью пошел отряд, белыми занят не был.

Шел сильный дождь. Красногвардейцы в темноте падали в ямы, спотыкались о камни, блуждали в кустах. К утру следующего дня красногвардейцам удалось спуститься в долину, в деревню Каракол.

Около двухсот красногвардейцев, измученных тяжелым подъемом, отстали, запутались в горных тропах и не нашли выхода. Они разбрелись по горам. Многие из них переловили казаки и кулаки и расстреливали, закапывали полуживых в землю, делили между собой одежду, снятую с убитых, и деньги. Спасаться удалось немногим.

Белые, заняв Тележиху, зверски истязали и расстреляли двадцать семь красногвардейцев, раненых и больных красногвардейцев после глумления добили в лазарете. Этой же участи не избежали и шесть медицинских сестер: Дерябина, Солнцева, Федянина, Обухова, Красилова, Коскина и жительница Тележихи Березовская. После восстановления Советской власти в Сибири на месте расстрела красногвардейцев тележане устроили братскую могилу, которую бережно хранят до сих пор.

Из Каракола отряд на мобилизованных в населении лошадях двинулся в конном строю через Усть-Каш, Абай, Уймон и

Катанду в Монголию. Встреч с беляками не было, но белые под командой полковника Волкова двигались следом.

За Катандой, в горах Алтая, на берегу Катуня, недалеко от подножья горы Белухи, приоткрылась маленькая кержацкая деревенька Тюнгур. По пути туда, в селе Нижний Уймон, красногвардейский отряд встретил некоего Казарцева, жителя Катанды, эсера. Казарцев нашел в отряде своего давнишнего знакомого красногвардейца Жебурыкина — тоже эсера. Вместе они, как эсеры, отбывали в царское время якутскую ссылку. Разговорились. Казарцев вызвался проводить отряд до Катанды. Красногвардейцы охотно приняли это предложение.

За два дня до прихода отряда в Катанду Казарцев и Жебурыкин, под предлогом приготовить для отряда квартиры и продовольствие, уехали вперед.

Вот, наконец, и долгожданная Катанда. Пришло сюда только около 250 красногвардейцев.

Перед входом в село у покосины устроили совещание. Выяснили, что пробираться в Монголию намерены примерно 120 красногвардейцев, а остальные 130 решили разбрестись по окрестным селам и деревням, но уже после того, как минуют Тюнгур, дабы не возвращаться обратно по тому пути, по которому пришли, так как знали, что за ними идут беляки.

Вошли в Катанду 5 августа 1918 года.

Кержаки действительно радушно встретили отряд. Такой прием никого не удивил. «Это постарался, должно быть, Казарцев и Жебурыкин», — рассуждали красногвардейцы.

В обед красногвардейцы попроцались с гостеприимными хозяевами, сели на коней и с песнями и шутками потянулись гуськом в горы.

Вот деревня Тюнгур. Отъехали верст пять. Едут у подножья

отвесной горы Байда по узенькой дорожке. Справа внизу, под крутым обрывом, бешено ревет река Катунь. Местные дощатенки, настороженно похрапывая, цепко стоят погн на камешную тропу и медленно продвигаются вперед.

Вдруг кругом все загрохотало. Впереди из кустов загремели залпы. С правого берега Катуня, из леса, затрещали пулеметы.

Где враг? От кого защищаться?

Оставалось одно из двух: или броситься с высоты обрыва в Катунь и погибнуть или же лезть на вершину горы. И красногвардейцы, несмотря на убийственный перекрестный огонь врага, полезли на гору, прячась за камнями, кустами и неровностями.

Обстрел между тем продолжался. Появились убитые и раненые, многие срывались и падали с высоты в Катунь. Обливаясь потом и задыхаясь, красногвардейцы забирались все выше и выше на гору, но ее каменная громада, словно насмехаясь над человеческими усилиями, уходила в бесконечную высь.

Наконец оставшиеся в живых поднялись на вершину горы, оказались недосягаемы для выстрелов. Из 250 бойцов, выступивших из Катанды, в живых осталось только 102.

Оставив у подножья горы заставу, тюнгурские кержаки и нагаки ушли в Тюнгур.

Впоследствии выяснилось, что именно эсер Казарцев устроил красногвардейцам эту западню. Узнав, что красногвардейцы приближаются, он вышел к ним навстречу с латаенной целью вовлечь их в Катанду, а среди населения, которое сплошь состоит из кержаков, он пустил слух, что красногвардейцы везут с собой золото, награбленное в барнаульском банке, и подговорил их напасть на отряд. Свои истинные намерения

Изарцев раскрыл Жебурыкину, когда они отделались от отряда вдвоем, и предупредил его, что если он, Жебурыкин, сообщит об этом отряду, то вместе с ним погибнет сам.

Жебурыкин смалодушничал и предал отряд.

В 1924 году Жебурыкин был опознан в Барнауле, судим и расстрелян как предатель.

Красногвардейцы, поднявшиеся на вершину горы, стали сопеваться, что предпринять дальше. Споры были много. Но ясно было одно — большинство потеряло веру в свои силы.

Отряд распался. Сухов это видел. С болью в сердце он чувствовал, что большинство не считает его больше командиром, что многие мечтают о других путях спасения, о сдаче на милость врагу. Он видел, что есть и такие, которые пойдут на предательство. Сухов в своем последнем выступлении прямо и открыто заявил: «Голодная смерть, товарищи, никому не улыбается. Решайте: сдаться на милость врагу или умереть в бою с врагом с оружием в руках. Тех товарищей, которые не желают сдаться врагу, я зову идти со мной, быть может, удастся как-нибудь пробиться через кольцо охвата. Тех же, которые решили сдаться врагу, и предупреждаю, что враг жесток и беспощаден, пощады от него не ждите. Лучше будет для вас, если вы, как истинные революционеры и борцы за пролетарское дело, мужественно встретите смерть. Многие из вас, товарищи, уже больше не считают меня начальником. Я их понимаю. Но партия меня поставила над вами начальником, партия доверила мне вас и требует с меня ответственности за вас, за то дело, которое мы вместе делаем, преодолевая трудности. Мы прошли тысячу километров, храбро дрались с врагами. Силы наши сильно убавились, но дух наш крепок. Мы еще в состоянии выдержать и не такие тяжелые испытания.

Волею партии, ради нашего святого дела приказываю выполнять стоящую перед нами задачу».

И, вскинув винтовку на плечо, Сухов пошел вниз под гору. Вслед за ним пошло большинство красногвардейцев. Оставшиеся несколько человек, измученные голодом и холодом, начали по одному постепенно спускаться в Тюнгур. Но как их, так и тех, кто пошел с Суховым, казаки и тюнгурские коржаки ловили, раздевали донага, нещадно избивали, а затем передавали казачьему начальству для окончательной расправы. Сухов был схвачен вечером 7 августа.

Утром 7 августа в Тюнгур прибыл штаб белых и командующий полковник Волков. Казаки на лужайке за деревней выстроили красногвардейцев в две шеренги, туда же собралось все население Тюнгура и Катанды. Раздалась команда: «Смирно!». В сопровождении адъютанта подскочил полковник Волков.

Из оперативных сводок ему хорошо было известно, что стоявшие перед ним красногвардейцы во многих местах губернии разгромили немало чекистско-офицерских отрядов. В бою под Тележниковой, где он сам руководил боем, красногвардейцы нанесли тяжелые потери и его отряду, сумев при этом ускользнуть из кольца охвата.

И вот теперь, раздетые, обезображенные истязаниями и обезоруженные, они стоят перед ним. Выхватив из кобуры револьвер, полковник выстрелил над головами пленных и закричал: «На колени, мерзавцы!»

Но пленные и не думали падать на колени. Полковник, дико ворочая глазами, закричал: «Что! И тут бунт!» Обратившись к казакам, он командовал: «Проучить эту сблочь!». Казаки с гиканьем нагнулись

на красногвардейцев и начали зверски избивать их.

Обезумевшие от боли красногвардейцы бросились в стороны, хватали за поводья лошадей, но взбесившиеся от криков и ударов лошади с храпом и фырканием насканивали на них, сшибали с ног, подминали под копыта.

Вид истерзанных красногвардейцев был ужасен. Удовлетворенный расправой, полковник обратился к ним с такой речью: «Я знаю, что многие из вас попали в отряд только благодаря своему невежеству и своей глупости... Таких из вас, если они чистосердечно раскаиваются в своих преступлениях перед народом (жест в сторону кержаков и казаков), я помилую. Упорствующих же и ваших вожаков прикажу расстрелять. Итак, подходите сюда, — показал он пальцем на место впереди жеребца, — и кайтесь, прохвосты!».

Среди красногвардейцев не нашелся ни один, который просил бы пощады.

Отдав приказ расстрелять всех пленных, полковник поспешно ускакал в деревню.

Красногвардейцев расстреливали десятками. Залп гремел за залпом. Окровавленные красногвардейцы падали на землю. Тех из них, которые подавали признаки жизни, казаки рубили шашками, призывали выстрелами из револьверов.

Сухов был расстрелян последним и не в этот день, а 10 августа.

Жители Тунгура уверяют, что Сухов был захвачен уже

после массового расстрела красногвардейцев. Поэтому братская могила расстрелянных красногвардейцев находится у подножья горы, ниже села, а Сухов похоронен отдельно выше села, на берегу Катуня.

Перед расстрелом белогвардейцы долго и жестоко пытали Сухова. Командир казачьей сотни эсер поручик Любимов собственноручно совместно с другими офицерами жестоко истязали Сухова. Он не мог держаться на ногах, и казакам пришлось его вести под руки к месту расстрела.

Перед расстрелом Сухов выпрямился, гордо поднял голову и, смело глядя на палачей, крикнул: «Вы, палачи, сейчас расстреляете меня, как расстреляли моих товарищей, но не можете расстрелять весь рабочий класс! Близок час расплаты! Да здравствует коммунизм! Стреляйте, гады! Всех не пострел...» Грянул залп... Сухова не стало.

Так погибли героические сыны и дочери нашего народа, защитники интересов трудящихся. Но то святое дело, за которое они боролись и отдали свои жизни, не погибло. Оно восторжествовало в делах советского народа, под руководством Коммунистической партии построившего социализм и успешно решающего задачу построения коммунизма в нашей стране.

М. И. БЕЛЬКОВ,
бывший красный партизан
I Горно-Алтайской партизанской дивизии.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. АНТРОПЯНСКИЙ,

ка-дидат филологических наук

ОБРАЗ В. И. ЛЕНИНА В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ НАРОДОВ СИБИРИ

Благороднейший образ величайшего из людей Владимира Ильича Ленина привлекал и привлекает внимание поэтов и писателей всех народов мира. Много лучших страниц своих произведений посвятили великому вождю и поэты народов Сибири.

Создание образа Ленина—дело чрезвычайной трудности. Хотя русская поэзия имеет в этом отношении замечательный пример Маяковского, облик Ленина настолько многогранен, что по сей день остаются справедливыми слова поэта Н. Полетаева, сказанные о том, сколь сложно воссоздать образ Ленина:

Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Коллективными усилиями сибирские поэты разных национальностей вносят свой вклад в разработку художественного образа вождя. В своих стихах они раскрывают мощь и величие гения Ильича, величайшего вождя трудящихся, освободителя народов от цепей рабства и угнетения, создателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства, творца бессмертного учения — ленинизма.

Выдающийся алтайский поэт Павел Кучияк в созданной им при участии сказителя Даабы Юдакова героико-романтической поэме «Зажглась золотая заря» в ярких, красочных картинах, фантастичных по форме, но глубоко реалистических по содержанию, повествует о том, как над Алтаем засияла заря новой счастливой жизни. Зажег ее, эту зарю, «добрый из добрых и сильный из сильных богатырей» — Ленин.

Олицетворяющий собой весь алтайский народ, бедный охотник Анчи, бывший забытым, замученным, смертельно усталым, вдруг чувствует, что на него проливаются животворные, двойные лучи — лучи солнца небесного и лучи солнца Ленина:

И почувствовал он: жизнь к нему возвращается.

И он сам, от двух солнц теплоту их беря,

Наливается силою и превращается

В молодого алтайского богатыря.

Могучие плечи свои расправил алтайский народ, счастливой жизнью зажил он, осененный великим учением Ленина, освобожденный им от угнетения и несправия.

Гений Ленина осветил нашу жизнь на много лет вперед. Лениным намечен конкретный путь нашего развития:

Он в коммунизм дорогу проложил,
Наметил путь к сегодняшним победам.

(Пишет М. Небогатов в своем стихотворении «Ильич»).

С русским поэтом перекидается старейший поэт Бурятии Хоца Намсараев. Сравнивая ленинское учение с всеозаряющим солнечным светом, преклоняя свою седую голову перед мудростью и величием Ленина, выдающийся поэт братского бурятского народа в стихотворении «Великий учитель» пишет:

Он над пародами развеял мрак и тучи,
Сердца борьбой за счастье озарил,
И в коммунизм рукой своей могучей
Он двери заповедные открыл.

Нет такого народа, который бы не испытывал чувства бесцельной любви к Ленину, чувства безграничной преданности ему. Простые люди сердцем и разумом с Лениным.

В былинно-торжественном стиле поет о великом вожде, о его делах якутский поэт — импровизатор М. Н. Тимофеев-Терешкин. Торжественно-величаво звучит его белый стих, богато украшенный приемами восточной поэзии:

Я, певец-былинник,
Протекаю мыслью по жизни...
И больше не видно
В долинах моих широких
Ни слез, ни крови, ни гнета...
Жизнью цветя счастливой,
Славой храня свободу,
Наши живут народы,
Сердцем благословляя
Имя его родное,
Вечное, словно солнце,
Яркое имя — Ленин.

(«Сибирское слово про Ленина»).

Якут Элляй, тувинец Ю. Кюнзеген, ненецкий поэт И. Истомин, выражая думы и чувства своих народов, взволнованными стихами воспевают того, кто объединил народы Сибири и всей страны в единую семью, сделал их навсегда счастливыми братьями. Во главе со старшим братом — русским пародом — народы Сибири идут по ленинскому пути. В стихотворении «Дорогой Ленина», обращаясь к великому вождю, с гордостью восклицает И. Истомин:

Мы рядом с русскими идем
Твоей дорогой в коммунизм!

В поэме Элляя «Ленин и якут» простой якут-партизан, промерив шагами всю Сибирь, пешком приходит к Ленину, в столицу, чтобы попросить помощи русских одолеть врагов — белогвардейцев, темной тучей нависших над всем, что сделал вождь для счастья людей тайги. И Ильич, выслушав просьбу далекого ходока, с теплой улыбкой согласия ответил:

Меньшему брату якуту
Русский будет броней,
Он в общей борьбе народов
Надежней, чем брат родной.

Ленин вручает посланцу якутского народа Закон о предоставлении автономии Якутии. Счастьем озарилась тайга. На людном, великом ехаре (празднике) поют якуты о том, что они вовеки не свернут с той дороги, которую указал им Ильич.

Глубоко проникновенные стихи о Ленине написал шорец Федор Чиспянков. Поэт сумел выразить думы и чувства народных о великом вожде, и это придало его стихотворению «Аргыш* Ленину» крылья.

* Аргыш (шорск.) — товарищ.

оно стало народной песней, которую можно услышать в колхозах, в мастерских, на рудниках Шории. В этой песне шорцы поют:

Жил народ в нищете, в беде:
Наши слезы Ленин увидел,
Слышал Ленин народный стон.
Встал на нашу защиту он...
Вывел нас из нужды, из тьмы,
В октябре победили мы,
И дорога его светла—
Прямо к счастью нас привела.

Великим горем отозвалась в шорском народе весть о смерти любимого вождя. Но бессмертно слово и дела Ленина, бессмертны удары его могучего сердца, оно стучит в людских сердцах:

Аргыш Ленин могучий угас —
Слово Ленина есть у нас,
Паш любимец Ленин угас —
Сердце Ленина бьется в нас!

Перев. А. Смердова.

Как о творце счастья эвенкийского народа, источнике его радости пишут о Ленине поэты эвенки А. Платонов и Н. Сахаров.

В безысходной нужде жил эвенкийский народ. В чащах, «возле рек глухих и хмурых» кочевал он. В песнях его звучали заунывные напевы зимней бури. Но пришел великий Ленин, и пришли с ним в северные таежные края радость и счастье.

Нашей радости основу

Положил великий Ленин,—

пишет А. Платонов в стихотворении «По дороге Ленина». По ленинской правде начали жить эвенки. Веселее стало их дело, звонкими стали песни. И в песнях этих, как о самом дорогом человеке, вожде и друге эвенков, поется о Ленине. И потому что в этих песнях поется о Ленине, никогда не устареют они, не замолятся. Хорошо сказал об этом поэт Н. Сахаров в стихотворении «Всюду с эвенками Ленин»:

В нашей песне будет Ленин
Славиться веками,
Вечно с нами будет Ленин,
Ленин всюду с нами!

Перев. А. Ольхова.

В стихах поэтов-сибиряков Ленин показан всегда вместе с народом. Народ и Ленин — кровное, неразрывное целое. Великий вождь, он переживает те же трудности, что и простые люди. Волнующую картину создает поэт Ю. Гордиенко в стихотворении «В музее Ленина».

Гражданская война...
...Москва в кольце. В Москве
едят кошню,
Голодный год вождю на плечи лег,
И вот, как рядовому гражданину,
Выписывают Ленину паек.

Ленин тоже на пайке. Всему народу трудно и ему, народному вождю, тоже.

О глубоком внимании, о любви к людям, об исключительной человечности Ленина рассказал поэт-сибиряк Василий Федоров в своей поэме «Ленинский подарок». Автор нашел яркие, выразительные средства, с помощью которых нарисовал несколько картин из жизни Ленина. Вот Ильич в госпитале осматривает раненых:

На многих рваные халаты.
Бинты замытые видны...
Ильич осматривал палаты
И повторял:
«Бедны, бедны!»...

Вот он подошел к группе спорящих:
«Товарищ Ленин, мы вот спорим...»
Ильич подался:
«И о чем?»

Не только ленинская живость, но и интонация голоса Ильича, характер его речи чувствуются в этих строчках. Таких примеров в поэме В. Федорова много.

Ленин — мудрейший из живущих на земле. Никто не может сравниться мудростью с ним. Вот как красочно, в стиле восточной фольклорной традиции, передавая мысли и чувства казахов, пишет об этом качестве Ленина талантливый русский сибирский поэт Павел Васильев:

Если всю мудрость
Мудрейших соединить
И на число звезд это умножить,
То и все же
Не получится мудрости
Великого Ленина!

(«Песня о Ленине»).

Ленин необычайно скромный, он не любит почестей, возвеличивания, презирает славословие. Метко сказал об этой черте Ленина молодой новосибирский поэт Илья Фояников. Поэт говорит, что он видел разные памятники вождю:

Видел — в бронзе, в гипсе, в терракоте,
Где и как — всего не вспомню сам.
Видел часто даже в позолоте —
Ох, и дал бы Ленин
Их творцам!

Не любил великий вождь позолоты — ни в вещах, ни в словах. Только фальшивые авторитеты уже при жизни заботятся о собственных подпорках, хрестоматийном глянце, позолоте. Истинная гениальность не нуждается в них и бывает оскорбляема ими.

Образ Ленина — в сердце каждого советского человека. Он как самый родной и близкий, как самый дорогой входит в наше сознание уже в раннем детстве. С образом Ленина, с его именем у нас связано все подлинно революционное, все истинно человеческое. Глубоко прав известный новосибирский поэт Александр Смердов, когда в своем стихотворении «Бессмертие» пишет:

Не в бронзе, мраморе,
не на портретах
Увековечен и нетленен он. —
В живых сердцах, его мечтой
согретых.
В живой душе народов и племен
Живой Ильич навек запечатлен...

«Ильич не умер, он — в сердцах людей, в их помыслах, он живет в делах людей, Ленин здесь, на планете, с нами рядом». — пишет Ин. Луговской. «Ленин среди нас, — заявляет Х. Намсараев.

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше, —
писал Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин».

К Ленину и созданной им партии устремлены сокровенные помыслы наших поэтов.

Владимир Ильич, мне неловко
чуть-чуть:
порой оглянусь я в раздумье
назад—
Как все-таки мал мною
пройденный путь,
ни славных побед, ни высоких наград...
И хочется больше сделать
стократ,
и верьте, Владимир Ильич,
я смогу...—

с открытой душой мысленно обращается к великому вождю Иван Ветлугин (стихотворение «Портрет Ильича»). Нам понятно волнение поэта. Нет большой гордости и ответственности, как мерить свои дела мерою требований Ильича.

В час торжества или сомнений,
Радуюсь я или тужу,—
К тебе я, товарищ Ленин,
На первый совет прихожу,—

заявляет Иркутский поэт Ни. Луговской в стихотворении «Учитель», выражая этими словами думы и чувства миллионов советских труженников.

В дни самой большой радости обращаемся мы к Ильичу, чтобы еще и еще раз воздать должное его имени, чтобы проверить себя: все ли у нас верно, нет ли бахвальства, самоувлечения; в дни горестей и печалей мы ищем в его трудах совета, поддержки, помощи. Он всегда с нами.

«Ленин—наше солнце» — говорят о нем освобожденные народы. Поэты, выражая эту мысль, часто сравнивают Ленина с солнцем, его учение — с солнечным светом, озарившим всю историю человечества. «Он сказал слова простые, как солнце, сияющее в небе», — пишет И. Васильев. «Солнцу подобно сияет ленинское учение», — восклицает Хоца Намсараев: «Вечное слово солнце, яркое имя — Ленин», — возглашает М. Н. Тимофеев-Терешкин. Ленин — наше солнце — это не только и не столько поэтическое сравнение, сколько выражение заслуг Ленина, сделанного им для человечества.

С большой любовью поэты-сибиряки воссоздают в своих стихах картины жизни Ленина в сибирской ссылке. Чаще других к этим темам обращаются Илья Авраменко и Игнатий Рожественский. У каждого из них есть цикл стихов о Ленине в Сибири.

Зимняя ночь. На берегу Енисея, за селом, — двое. Они о чем-то жарко спорят. Эти двое — Ленин и Кржижановский. Ленин горячо убеждает своего собеседника в необходимости создания общерусской социал-демократической газеты:

«...Только, только печать,
общерусская наша газета!» —

восклицает Ленин, резким взмахом руки широко рассекая воздух (стихотворение И. Авраменко «В зимнюю ночь над Енисеем»).

Вот Ленин в своей кватире в Шушенском со всем радушием угощает горячим чаем худенького, в отряпях, крестьянского мальчика Миньку, чудом уцелевшего среди той страшной нужды, которая скосила всех его братьев и сестер. И поэт делает многозначительный вывод, который не может не вызвать чувства гнева и ненависти к гнусному царскому режиму:

И час-другой сидят они
в молчанье,

Прислушиваясь к вьюге
за стеной, —
Невольных этих лет односельчане
И узники империи одной.
(И. Авраменко «Миньна»)

В самом деле, как один, так и другой — узники. Весь трудовой народ был в тюрьме самодержавия. Недаром несколько позже В. И. Ленин назовет Россию тюрьмой народов.

О глубокой любви Ленина к детям и нежной детской любви к Ильичу рассказывает в своих стихах «Чудесные коньки» красноярский поэт Игнатий Рождественский. Оторвавшись на часок от сильно занятившей его работы, выходит Ленин с коньками на лед. Его давно ждут, ему очень рады искренние почитатели его — дети, у которых Ильич заслужил горячее чувство преданности своей чуткостью к ним добротой:

На лед зеркальный с берега,
как с горки!
На санках и дощечках — кто
на чем —
Летят Ванюшки, Петьки и Егорки,
Здороваясь душевно с Ильичом.

Поэт Никандр Алексеев в стихотворении «Ленин на тяге» рисует Ильича на охоте. То ли оттого, что Ильич очень горячился, то ли не с той руки был лет, но он раз за разом промахнулся. И тогда сопровождавший его егерь задумал схитрить — он решил поправить промах Ильича своим тайным выстрелом в такт с Ильичевым выстрелом по той же самой дичи. Хитрость, кажется, удалась: залпом гремят два выстрела — и наземь падает иглоклювый вальдшнеп.

Доволен егерь и герою
Прекрасную подносит дичь:
— Позвольте вас с удачным полем
Поздравить, дорогой Ильич!
Но не тут-то было, Ильича нелегко провести.
Смеется Ленин: — Ну и птица! —
И говорит, как бы шутя:
— Ружье-то отчего дымится,
Мой друг, подмышкой у тебя?

Так и видишь здесь Ильича с лукавой усмешкой, хитринкой в прищуренных ласковых глазах, подшучивающего над провинившимся егерем.

Показан Ленин в стихах поэтов-сибиряков в беседах с деревенскими мужиками, на прогулке и т. д.

Ленин с большим вниманием относился к Сибири и постоянно помнил о ней. И не просто поэтическим домыслом, а отражением реального звучат следующие стихи Казимира Лисовского:

...В почи боевые, в Смольном.
Видел Ленин, устремясь мечтой,
Край, лежавший горьким и
бездольным,
За Уралом, за его чертой.
(«В Смольном»).

Орлиным взором увидел великий вождь великое будущее того края, который в глухие времена царизма считался гиблым местом, куда самодержавие ссылало революционеров в надежде, что они там погибнут, куда был сослан и Ленин.

Озаренная гением Ленина Сибирь за годы Советской власти неузнаваемо преобразилась. Она превратилась в цветущий край, с ты-

елками новостроек, многие из которых являются крупнейшими в мире, с прекрасными городами, колхозами, учебными заведениями, которыми гордится наша страна.

Сибиряки, идя по ленинскому пути, под руководством Коммунистической партии, верные заветам великого вождя, за годы семилетки сделают свою родную Сибирь еще более прекрасной, еще более могущественной. Сибирские поэты напишут новые произведения, в которых еще полнее, еще ярче воссоздадут облик родного Ильича.

О КРИТИКЕ С ПОМОЩЬЮ «ЛАКМУСОВОЙ БУМАЖКИ»

В седьмой книге журнала «Сибирские огни» за 1960 год появилась рецензия Ю. Мосткова «О красоте жизни и литературных красавицах», которая посвящена анализу романа М. Бубеннова «Орлиная степь».

Новое крупное произведение М. Бубеннова в периодической печати в основном было встречено положительно, хотя ряд критиков отмечал и его существенные недостатки. Ю. Мостков обнаружил противоречивость в оценке романа «Орлиная степь» и решил вынести ему свой объективный, принципиальный приговор, не делая «скидку на тему».

«До каких пор, — пишет он, — мы будем повторять на писательских собраниях, что для дальнейшего роста литературы необходимо быть требовательным, что нельзя делать «скидку на тему», ибо недоделанное произведение только дискредитирует большую и важную тему, а лишь только дело доходит до писания рецензий — подменяем художественное воплощение благими замыслами автора?»

Как видно, Ю. Мостков поставил перед собой задачу способствовать росту нашей лите-

ратуры, помочь писателю в умении правдиво, глубоко, ярко изображать героическую советскую действительность.

Но как эту задачу выполнил критик? Достиг ли он поставленной цели? Что положительного он увидел в творчестве М. Бубеннова, какие он высказал доброжелательные замечания, которые бы дали писателю возможность доработать, улучшить свой роман?

Ю. Мостков привлекла в романе М. Бубеннова «Орлиная степь» только тема. Он говорит: «Никого не оставит равнодушным... тема нового романа, повествующего о незабываемых днях формирования целенных просторов Родины». И только. Больше он в нем ничего положительного не заметил, почти ни один герой романа не вызвал у него симпатии, не получил одобрительной оценки. «...многие персонажи романа, — заявляет критик, — лишены характеров и, по существу, являются лишь ходячими иллюстрациями той или иной мысли автора».

Свою рецензию Ю. Мостков заканчивает следующими словами: «...труд человека, преобразующего степь, сами люди в романе показаны бледно. Хороший

замысел обесценен неудачным художественным воплощением. Литературные красоты подменили красотой подлинной жизни, и это предопределяло досадную неудачу талантливого писателя».

Чем же Ю. Мостков аргументирует свои выводы? На что он опирается, высказывая свои решительные суждения о романе М. Бубеннова?

Вот он приводит из романа слова Леонида Багрянова, обращенные к своей матери: «Сколько ни живу в Москве, как ни люблю ее, а все равно, бывает, так поманит в деревню, к земле, что даже сердце сохнет! Хорошо там, мамал.. Бывало, проснешься в дугах на зарьме... Трава высокая, густая, вся в росе. Идешь по ней, как плывешь! Мокрый до ворота! А наработаешься — грохнешься на спесь и думаешь, что никогда не встанешь на ноги, никогда! Все кости ноют, все тело болит... хорошо! Лежишь на свежем, пахучем сене, а тебя ветерок обдувает, и над тобой жаворонок звенит... И кажется, что земля несет тебя, будто на крыльях, далеко-далеко!..»

После этой цитаты критик заявляет, что в ней «улавливается какую-то явнижность, словно восхитается сельской жизнью не трудовой человек с поэтической душой, а исконный горожанин, перечитывший немало книг и представляющий себе деревню по театральным декорациям и хрестоматийным отрывкам».

Но ведь речь Леонида Багрянова отличается тем романтическим, приподнятым тоном, который характерен для всего произведения М. Бубеннова, прославляющего трудовой подвиг молодежи нашей Родины. Эту его особенность подчеркнул в своей статье В. Сурицко «На путях романтики», опубликованной в седьмой книге журнала «Новый мир» за 1960 год: «Прилетели орлы в степь. Это

прилетели юноши и девушки на целину, это их взлет к трудовому подвигу, и первый среди них — Леонид Багрянов, герой-богатырь, огненная натура, волевой характер, человек, пламенно преданный высоким идеалам труда и служения народу. В его подлинно романтическом образе нашли воплощение мечты и стремления советской молодежи».

Романтическую интонацию романа отмечает и В. Нарлова в литературном обозрении «Книжки о жизни народной», опубликованном в «Правде» 28 августа 1960 года: «Особенность «Орлиной степи» — в романтически приподнятой интонации, в прославлении трудового подвига».

Ю. Мостков называет Леонида Багрянова «человеком исключительным», который «чувствовать должен по-особому». Он упрекает М. Бубеннова за то, что «исключительность» Леонида Багрянова «подчеркивается на каждом шагу».

Что плохого увидел критик в том, что М. Бубеннов создал образ мужественного, трудолюбивого молодого человека, стойкого борца за коммунизм? Может быть, он хотел сказать, что образ Леонида Багрянова нетипичен, поскольку в нем воплощены черты «исключительного человека»?

На эти вопросы в рецензии Ю. Мосткова нет ответов. Одно только ясно, что ему не нравится «исключительность» Леонида Багрянова.

Но можно ли считать Леонида Багрянова «исключительным человеком»? Да, можно, но лишь в том смысле, что он является представителем нашей героической молодежи, прославляющей свою Родину трудовыми подвигами. Черты, которые М. Бубеннов воплотил в образе главного героя романа, присущи молодым строителям коммунизма в нашей стране.

Как писал Н. Масляев в статье «Черты героя», опубликован-

ной в газете «Литература и жизнь» 16 сентября 1960 года. в художественном произведении нужно различать, какого положительного героя создает писатель: или героя, который обладает уже опытом и умением в борьбе за коммунизм и ведет за собой других людей, или героя, который только делает первые шаги в жизни, становится на путь сознательного творчества.

В романе «Орлиная степь» М. Бубеннов создал такого положительного героя, который уже прошел суровую школу жизни. Леонид Багрянов, когда еще был мальчиком, перенес испытания Отечественной войны, приобрел трудовой опыт на заводе, получил среднее, а затем высшее инженерное образование. Леонид Багрянов вступает в борьбу с такими хищниками, как Красюк, Деряба, вполне подготовленным, сознательным, закаленным борцом. И поэтому ничего удивительного, плохого нет в том, что он является «исключительным человеком», то есть героическим.

Достоинство нового романа М. Бубеннова «Орлиная степь» в том и состоит, что в нем за основу взят правдивый показ положительного героя, который является ярким, убедительным примером того, как надо служить своему народу, как надо бороться за торжество коммунизма, против всего, что мешает нашему движению вперед. Н. С. Хрущев в своем выступлении на Третьем съезде писателей СССР говорил: «Разве не является хорошим и нужным такое произведение, в котором автор правдиво показывает положительных героев?.. Надо воспитывать людей на хороших примерах, показом положительного в жизни прокладывая пути в будущее. Сила примера — это великая сила, товарищи!».

Критик обнаруживает, что в раскрытии чувств главного героя романа автор допускает

«выспреннюю велеречивость», «литературные красоты», а подтверждение чего он приводит, например, следующую цитату: «Но отчего-то вся душа Багрянова вдруг облилась огнем, как не обливалась никогда в жизни, холодным и жгучим, вероятно, таким же, какой царил в природе...»

Анализируя эту цитату Ю. Мостков пишет: «Возможно, иной читатель спросит — что же это за холодный и жгучий огонь, царящий в природе, которым вдруг облилась душа Багрянова? Зачем эта выспренная велеречивость, эта литературная красавица? Для чего писатель рисует чувства положительного героя такими красками?»

Вряд ли иной читатель задаст такой вопрос, потому что перед этим он прочитал яркое описание природы, в котором М. Бубеннов образно говорит о «холодном огне»: «Над Подмосковьем уже высоко поднялось тихое, с нежным морозцем и необычайное для декабря, самое темного месяца в году, солнечное утро. Чистый, прозрачный купол неба, все еще слегка розовый в зените, по силам был облужен ярчайшей, почти летней лазурью; только на горизонте, за лесами, опавшими атласными покрывалами лежали синие облака. Но не менее нарядны были и леса. Ночью легонько подморозило в тишине, и они густо заиндевели: каждая веточка была теперь точно в горностаевом меху, он жемчужно мерцал и искрился на солнце. На белоствольные березовые роши невозможно было глядеть простым глазом: они стояли, будто опустившиеся на землю искристые огненные облака. Так и думалось: залетит с ходу в такое облако и мгновенно сгорит в его тихом, холодном огне...»

Между прочим, фразу, которую критикует Ю. Мостков, цитирует В. Сурвилло в своей

статье «На путях романтики». Она не вызвала у него непонимания, и он приводит ее в числе других примеров, на которых показывает характерные особенности «романтического повествования» М. Бубеннова, подчеркивая, что автор романа «не скрывает своих оценок, своего восхищения героем».

После такого анализа образа Леонида Багрянова Ю. Мостков делает заключение: «И уже по другому отношению не только к герою, но даже к его имени и фамилии — почему уроженец русской деревушки с поэтическим названием Хмелевка вдруг наделен «сверхпоэтичным», «сверхкрасивым», а точнее — претенциозным именем Леонид Багрянов? Придирка, скажут линые? Нет, не придирка. Здесь — то же стремление к красоте, а не к красоте подлинной жизни».

Для убедительности своего вывода Ю. Мостков добавляет, что «фальшивая нота свойственна и описаниям героини романа». В подтверждение этого он приводит следующий отрывок:

«За столом с бумагами сидела одна Светлана Касьянова. Она что-то писала авторучкой. В те секунды, когда эта худенькая, но тоненькая девушка с изящной статью, в нарядной серебристой шерстяной кофточке распрямлялась за столом и смотрела в окно на дымящиеся заводские трубы, весеннее солнце освещало все ее одухотворенное, нежно румянящее лицо с высоким открытым лбом, темными дужками бровей и яркими детскими губами и особенно сильно — ее темно-русые выходящие от природы, тонкие, легчайшие волосы. В эти секунды в ее тихих карих глазах под густыми ресницами загорался удивительный свет, какой в иной день держится в заводях, на золотистом песчаном дне. Но она тут же жмурилась, опять склонялась за столом и громким голосом спрашивала: — Что же ему?»

Легчайшие волосы Светланы мгновенно рассыпаясь, оголяли ее тонкую красивую шею: на ней оставались лишь маленькие завитки на латуинах, которые так и трепетали, если кто-либо из девушек дышал близко».

На основании этой цитаты Ю. Мостков говорит: «Умиленность, краски конфетной бумаги — это не живопись художника».

Однако это не так. В приведенном отрывке проявляется не умиленность писателя, а его открытое восхищение своей героиней. Этим чувством автор стремится заразить и читателя. Это является особенностью характеристик, которые М. Бубеннов дает положительным героям романа.

Леонида Багрянова и Светлану Касьянову Ю. Мостков отнес к положительным героям, которых писатель «изображает розовой краской».

В противоположность им он называет в качестве отрицательных героев Степана Дорябу, Илью Краснюка, Аньку Ракитину, которых писатель не «изображает розовой краской».

В подтверждение этого он приводит из романа портретную характеристику Степана Дорябы: «Степан Доряба был сухой жердястый парень... голова его была непокрыта: грубые медно-рыжеватые волосы на затылке гочко изжужльканы мялкой (ох не вечной оказалась красота, наведенная по сходной цене в одной из лучших парикмахерских на окраине Москвы)», и т.д. Как всегда, Доряба был веселым, бесоском хмелью, его давно отекшее лицо косорылось от пьяной ухмылки, белки мутных, оловянных глаз поблескивали болезненной краснотой».

Далее Ю. Мостков пишет: «Еще не раз на протяжении романа автор подчеркивает оловянные глаза Дорябы. Совершенно очевидно, что от Дорябы ничего хорошего и ждать».

нельзя, — это ясно с первого знакомства с ним. И предчувствие не обманывает читателя».

И вот как Ю. Мостков заканчивает анализ образа Степа на Дерябы:

«...М. Бубенцов достаточно выразительно нарисовал бандита и убийцу... Мы видим жестокость и злобу Дерябы ко всему светлому. Но мы узнаем и о другом — о том, что «хороший, сердечный, заботливый был парнишка Степан Деряба. Сколько пролил он втихомолдку слез, видя, как стареет и убивается мать» (отец его погиб в первые месяцы войны). Затем автор излагает биографию Дерябы, сообщив, что после тюрьмы «вернулся Степан другим, совсем чужим человеком, точно поменяли ему сердце. Ничего не осталось от его юношеской заботливости и доброты».

Могло так быть? Конечно, могло. Но читатель вправе потребовать от художника не только описания событий (фиксировать факты может и фотограф), но и объяснения их. Ведь Деряба — один из главных персонажей романа, и очень важно заглянуть в его душу. Но автор не сделал этого, и образ Дерябы перестал быть социальным, он стал лишь иллюстрацией патологически-преступного мира».

Ю. Мостков бросает упрек М. Бубенцову, что он не показал, почему Деряба стал хищником. Это, во-первых, не вошло в замысел автора, а, во-вторых, превращение Дерябы в преступника пошло из той краткой биографии Дерябы, которую дает М. Бубенцов, если ее читать внимательно. Вот она с некоторыми сокращениями: «В первый же год войны он окончил школу и стал всячески помогать матери держать и кормить семью... (Отец его погиб на войне). Он... вместе с друзьями из «Шанхая» стал ежедневно таскать со станции домой уголь да в придачу для растоп-

ки то доску, то бревешко... Со временем, осмелев, за компанию со всеми «шанхайцами», Степан стал тащить со станции все, что попадалось под руку и годилось на прожитье... Однажды Степан Деряба вместе с приятелями сплавил «налево», как это называлось в их кругу, партию металлических труб и на этом попался: его судили, и вскоре он оказался в исправительно-трудовой колонии... Оттуда Степан Деряба, всем на удивление, вернулся намного раньше назначенного срока, и через месяц вновь оказался за решеткой; теперь было уже не рововство, а грабеж и убийство... ходили слухи, что он убежал и еще раз попался на «мокром деле»... На этот раз Дерябу освободили из заключения по болезни... Ссылаясь на болезнь, Степан Деряба долгое время вообще не работал, а затем, когда оставаться без дела стало нельзя, начал хитрить: поработает в одном месте, а затем несколько месяцев бродит «безработным»; позовут в поселковый Совет — быстренько устраивается на новое место... брал любые частные подряды, главным образом на дачах москвичей. Артель «халтурщиков», которую он создал в поселке, ремонтировала постройки, пристраивала террасы, проводила местную канализацию, обслуживала паровое отопление, рыла колодцы и бурила скважины... Брался Деряба за все при одном непременном условии: если удавалось обмануть доверчивого дачевладельца или принудить его к выгодной сделке».

Из этой краткой биографии Дерябы видно, как он постепенно превращался в преступника. Вначале он вместе с другими ребятами в тяжелые годы войны воровал все, что «годилось на прожитье». Затем он принял участие в крупной краже «партии металлических труб», за что его осудили. Впоследствии он не один раз попадал в тюрьму за различные тяжелые пре-

ступления, в том числе за грабеж и убийство. Выйдя из тюрьмы, Деряба понял, что почва под ногами преступника горит, поэтому он стал искать различные способы, чтобы вести паразитический образ жизни. С этой целью он создал в поселке артель «халтурщиков», которая занималась различными жульническими махинациями.

Ю. Мостков рассматривает образ Степана Дерябы как «лишь иллюстрацию паталогически-преступного мира». Однако с таким утверждением согласиться нельзя. Степан Деряба — это типичный представитель социальных паразитов, с которыми ведется решительная борьба.

Объясняя, почему в нашей стране есть антиобщественные элементы, Н. С. Хрущев говорил на Третьем съезде писателей СССР, что в советском обществе «вы найдете и кристально чистых людей, но есть и выродки — отъявленные убийцы, шарлатаны. К сожалению, такие люди в нашем обществе еще есть, потому что мы живем в период перехода от социализма к коммунизму и страдаем многими недостатками, которые остались нам в наследие от проклятого прошлого».

В последующем Ю. Мостков приводит портретные характеристики Ильи Краснюка, Альки Равитиной и пишет о них в таком же духе, как и о Степане Дерябе.

После этого он задает вопрос: «Но разве можно сводить весь роман, посвященный большой теме современности, к незначительным, в конце концов, деталям, к внешности персонажей?» И отвечает: «Конечно, нельзя». И вот тут-то критик делает основной вывод: «Но дело-то как раз в том, что эти детали — лакмусовая бумажка, помогающая разобраться в принципе изображения героев. Принятом М. Врубенновым. Прямолинейность, плакатность в

описании внешности персонажей ведет к прямолинейности в изображении их характеров, их внутреннего мира».

Из дальнейших рассуждений Ю. Мосткова становится ясным, что он подразумевает под термином «прямолинейность» и каков его «принцип изображения героев». «Кто не знает, — пишет он, — что в жизни встречаются хорошие и плохие люди? Но каким наивным покажется бы тот, кто решил провести непроходимый водораздел между теми и другими! Конечно, есть герои и трусы, труженики и лодыри, оптимисты и нытики. Но порой робкий становится отважным, герой в определенных условиях может проявить нерешительность, грубиян оказывается прекрасным работником, весельчак вдруг мрачнеет — кто не был свидетелем подобных превращений. В «Орлиной степи» есть непреложное деление персонажей на положительные и отрицательные».

В этих рассуждениях проявляется неверный взгляд Ю. Мосткова на человеческую личность. По его мнению, в человеческой душе совмещается белое и черное, положительное и отрицательное. Этим самым он утверждает закономерность существования в жизни низкого и высокого и дает ложные рецепты для изображения людей в художественных произведениях.

Взгляды Ю. Мосткова на человеческую личность и на «принцип изображения героев» тесно связаны со взглядами тех критиков, которые не так давно объявляли «лакировщиками» писателей, показывавших жизнеутверждающую силу нового коммунистического в нашей жизни.

Сущность таких критиков остро и глубоко вскрыл в своей речи на Третьем съезде писателей СССР Н. С. Хрущев. «...если есть «лакировщина», — говорил он, — то, очевидно, есть

и нелакировщики. Кто же эти нелакировщики? Некоторые из них говорят, что главная задача литературы состоит будто бы в том, чтобы выискивать всевозможные пороки и недостатки, игнорируя при этом великие завоевания советского общества... Они, видимо, тоже хотели помочь партии, своему народу в преодолении отрицательных явлений, но когда они нарисовали искаженную, утрированную картину, то эта картина сразу привлекла к себе внимание наших врагов, а не друзей. Поднялось такое зловоение, что нормальный организм не мог его вынести без нашатырного спирта. Писатели, утверждающие правду нового общества, все люди, убежденные в неправомерности такого извращенного, фальшивого описания, которое претендовало на изображение жизни, возмущались, справедливо поднялись против этого».

Ю. Мостков, в отличие от «нелакировщиков», не выступает против показа положительного в нашей жизни, не призывает изображать только отрицательные стороны советской действительности. Но у него есть то, что характерно для «нелакировщиков», — отказ от создания яркого, цельного, положительного героя, который бы служил образцом для советского человека, эстетическим идеалом в борьбе за светлое будущее.

Поэтому не случайно Ю. Мостков резко критикует положительных героев романа М. Бубенцова «Орлиная степь», которых, как он считает, автор «изображает розовой краской». Критику хочется, чтобы писатель наделил своих героев не только положительными, но и отрицательными качествами, чтобы в их душе уживалось и светлое и темное.

Неверные утверждения Ю. Мосткова о «принципе изображения героев, принятом М. Бубенцовым», не могут увести писателя в сторону от того

главного направления в нашей литературе, о котором точно, верно сказал на Третьем съезде писателей СССР Н. С. Хрущев: «...мы... за тех писателей и за то направление, которые берут в основу положительные явления, на этом положительном показывают пафос труда, зажигают сердца людей, зовут их вперед, указывают им пути в новый мир. Они как бы обобщают в образах положительных героев лучшие черты и качества людей, противопоставляют их отрицательным образам, показывают борьбу нового со старым и неизбежную победу нового. Показывая положительное, они, вместе с тем, осуждают то, что надо отбросить. Думаю, что такой подход к изображению явлений жизни будет правильным. Во всяком случае, я этого придерживаюсь и так эти вопросы понимаю».

Заслуга М. Бубенцова состоит в том, что он, продолжая традиции советской литературы, в своем романе «Орлиная степь» отразил подвиг молодых целинников Алтая, нарисовал образ нашего героического современника. Главным героем романа Леонид Багрянов всего себя отдает борьбе за выполнение задач, поставленных Коммунистической партией. Он без колебания едет на Алтай осваивать целину, преодолевает все трудности, которые встали на его пути к цели. Ничто не сломило крепкого духа Багрянова ни подлые, коварные замыслы таких хищников, как Краснюк, Деряба, ни материальные лишения, ни тяжелые испытания личной жизни. Леонид все выдержал и добился, что его тракторная бригада одержала победу на освоении целинных степей. С огромной силой в нем проявились смелость, воля, мужество, стойкость.

Высокую оценку роману М. Бубенцова «Орлиная степь» дает В. Карпова в литературном обозрении «Книги о жизни народной». Она пишет: «Острота

конфликтов и стремительность сюжета, романтическая приподнятость образов Леонида Багрянова, агронома Зимы, Галины Хмелько, поэтические картины чудесной алтайской природы — все это не может не увлечь читателя. Особенность «Орлиной степи» — в романтически приподнятой интонации, в прославлении героического грудного подвига. Роман polemически противостоит некоторым появляющимся у нас в это время произведениям, которым присущи нарочитая приземленность, сознательная установка их авторов на будничность».

Выступая против той общей оценки, которую Ю. Мостков дает роману М. Бубеннова «Орлиная степь», я не считаю, что в произведении нет недостатков. Они есть. На некоторые из них справедливо указал и Ю. Мостков. Так, например, не вызывает возражения следующее его замечание: «Правда, желая сделать образ Багрянова более жизненно достоверным, писатель усиленно подчеркивает его грубость, вспыльчивость, но эта его черта кажется чужеродной, «приписанной» Багрянову, не вытекающей из сущности его характера — спокойного, твердого, уверенного».

Недостатком романа, на мой взгляд, является мало правдоподобное описание отношений Леонида Багрянова и Галины Хмелько. Багрянов увлекается Галиной, почти любит ее, но писатель не может допустить, чтобы Леонид оставил Светлану. Ему нужно лишь провести своего главного героя через эти любовные испытания, чтобы подчеркнуть его благородство, верность, богатство души, чистоту и определенность его нравственных представлений. Но в сущности вся эта ситуация выглядит выдуманной, искусственной, потому что трудно поверить, что Леонид с его сильным, цельным характером,

с его нравственной чистотой мог увлечься Галиной Хмелько и с каким-то надрывом бороться за сохранение любви к Светлане.

Вся эта история отношений Леонида и Галины была бы более правдоподобной, если бы писатель показал только любовь Галины и дружеское отношение к ней со стороны Леонида, который по-товарищески помогает Галине осознать, что он ее не любит, что он любит Светлану и верен ей. Это не изменило бы основного содержания романа, не лишило бы писателя возможности показать ревность Светланы, обострение ее отношений с Леонидом, потому что она могла ошибиться и принять дружеские расположения Леонида к Галине за увлечение. Но зато это значительно улучшило бы роман, сделало бы Леонида Багрянова более цельной, возвышенной натурой.

Мне кажется, что для более глубокого раскрытия героической натуры Леонида Багрянова можно было бы сделать небольшое, но существенное по значению изменение в сюжете романа, в судьбе его главного героя. Сейчас Леонид Багрянов, преследуя вооруженного Степана Дерябу, остается живым. Но ведь он мог и погибнуть. И вот если бы Леонид Багрянов погиб, то и весь роман звучал бы по-иному. Это оказало бы на читателя огромное эмоциональное воздействие, потому что он увидел бы, почувствовал, что Леонид Багрянов не пожалел своей жизни во имя торжества того дела, за которое он самоотверженно боролся. И какое бы родилось в душе читателя страстное желание продолжать то, за что отдал свою жизнь Леонид Багрянов!

Можно было бы подумать, что такой конец романа противоречит методу социалистического реализма, потому что положительный герой гибнет в борьбе с отрицательным героем. Но это было бы неверно. Здесь нет и не может быть никакого

противоречия. Это не затрагивает основ метода нашей литературы, а является только приемом художника для более глубокого выражения идеи. Если герой погибает, то это не означает его поражения. Он умирает, но дело его живет, побеждает. Так и гибель Леонида Багрянова не остановила бы успешной борьбы целинников за подъем нашего сельского хозяйства.

Такой художественный прием, когда положительный герой произведения погибает, используется в нашей литературе широко. Ярким примером этого является роман М. Шолохова «Поднятая целина», в котором Семен Давыдов умирает от ран, полученных от врагов Советской власти. М. Шолохов достиг того, что читатель расстается с любимым героем с сердечной болью, но в то же время в его душе закипает ненависть к врагам нашей Родины, рождается неутолимая жажда борьбы за светлую жизнь на земле, готовность отдать и свою жизнь за победу идеалов коммунизма.

Некоторые другие недостатки романа «Орлиная степь» были отмечены в рецензиях ряда критиков, большинство которых подошло к анализу нового произведения М. Бубеннова с правильных позиций, желая помочь автору доработать роман, улучшить его.

Такое отношение критиков к советским писателям вполне соответствует тому, что сказал М. А. Суслов 17 июля 1960 года на встрече руководителей партии и правительства с писателями и работниками культуры: «...критика должна быть заботливой и внимательной, ясно понимать реальные трудности, которые встают на пути художника, уметь видеть и радоваться тому, что ему удалось

сделать... Особенно нетерпимо, если в своих оценках критики исходят из предвзятых субъективных и, по существу, эстетских представлений. Такая критика не приносит пользы развитию литературы и искусства».

Особенно важно подчеркнуть необходимость заботливого, внимательного отношения к работе художников над современным жизненным материалом. Совершенно очевидно, что здесь перед художником возникают особые трудности. Нужно обладать большой зоркостью и художественно запечатлеть новое в жизни и в характере людей».

Очень метко, ярко, образно говорил Н. С. Хрущев о задачах литературной критики на Третьем съезде писателей СССР: «Хороший литературный критик даже для самого видного писателя может сделать очень многое — умная критическая статья — это как бы своего рода березовый веник для человека, который любит ходить париться в баню: он парится и веничком себя похлопывает, а если сам себе не хочет этого делать, то сделает ему другой. А париться с веничком — дело неплохое, потому что открываются поры и тело начинает лучше дышать, жить становится легче».

Рецензия Ю. Мосткова на роман М. Бубеннова «Орлиная степь» не стала для писателя таким веничком, о котором говорил Н. С. Хрущев.

Кроме того, в ней подлинный анализ художественного произведения, разговор об изображении народной жизни, о создании образа нашего современника подменен критикой с помощью «лажмусовой бумажки», которая привела к неверной оценке романа, к неправильным эстетическим утверждениям, к неудачным поискам «литературных «красивостей».

КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ

А. ОРЕХОВСКИЙ

АЛТАЙСКИЕ САМОЦВЕТЫ*

Сибирский поэт Илья Мухачев начинал свою литературную деятельность на Алтае в 20-е годы. Незадолго до смерти он подготовил для Алтайского книжного издательства сборник стихов «Избранное».

Поэт включил в него стихотворения наиболее тесно связанные с колыбелью его творчества — Горным Алтаем.

Через всю поэзию этого самобытного певца Алтая проходит глубокая любовь к родной земле, неузнаваемо изменившейся после победы Великой Октябрьской социалистической революции, к человеку труда.

Живя думами и чаяниями народными, сердцем и делом участвуя в созидательной работе своего современника, Илья Мухачев смог при Советской власти развернуть свое дарование. От рабочего до широко известного мастера слова — вот путь, которым пришел в большое народное искусство Илья Мухачев, как и многие другие советские писатели.

И вот поэтому Илье Мухачеву было особенно дорого ощущение времени. Времени, когда он, сын сплавщика леса, рос как человек и поэт. Времени, когда в прошлом забитый и обездоленный труженник Алтая становился хозяином земли, созидателем значительных материальных и духовных ценностей.

Интересно отметить, что в ряде последних стихов («Да, в этом шуме породском», «Мне снилось») Илья Мухачев постоянно подчеркивал свою кровную связь с людьми простых профессий, с людьми, которые своими руками прокладывали пути к большому народному счастью. Поэту дороги эти годы радости открытия нового мира, буйством и полнотой жизненных сил.

В последние годы, когда старость и недуг лишали его возможности участвовать в больших всенародных стройках, он искренне сожалеет, что теперь нельзя «подниматься на уклон». Но это — не грусть человека, мало сделавшего за свою жизнь.

В лирических воспоминаниях Ильи Мухачева нет пессимизма. Его воспоминания о юре своей молодости лиричны в лучшем значении этого понятия: они светлы, и пронизованны, в них — сознание хорошо поработавшего и знающего себе цену труженника.

...И дружбы ласковым огнем
Согрет я, нет в душе печали...

* Илья Мухачев, Алтайское книжное издательство, 1958 г., цена 4 р. 55 к., стр. 192

Чувство удовлетворения испытывает и читатель, когда знакомится с «Избранным» поэта. В этих стихах перед нашим мысленным взором мужает, набирается творческих сил сам автор, а также зримо отмечены те наиболее взмные веки Советской власти, которые вывели алтайского труженика из нищеты и бесправия.

Характерно, что ранние стихи Ильи Мухачева написаны на большом лирическом накале. Так, в одном из первых стихов «Ты опять зовешь», в котором еще чувствовались есенинские интонация, у поэта найдено свое ощущение пульса жизни.

Сердце, сердце, ты нежнее мая!
Запахом твоих цветов и трав
Надою я старого Самбая.
Освежу его суровый нрав.

Этого же светлого лирического чувства требует поэт и от своего современника:

Спой мне так, чтобы я почувал
Боль и радость твоей души...
(«В гостях у товарища»).

Радостное мироощущение отмечается и более в поздних стихах Ильи Мухачева. Но в них, кроме радости бытия и красочных картин и деталей пейзажа, появляются и зримые черты времени.

Вот стихотворение «Праздник», написанное в 1933 году. Веселье сельчан-земляков — плод новых успехов в труде на коллективных началах:

«...Видно, товарищи, время и нам
По полу частый рассыпать пляс.
Славно работали в этом году,
Ливнями землю поила весна.
Недаром в амбарах, сусеки раздуд,
Дремлют сейчас курганы зерна.

Такой же действенной радостью наполнены стихи о труде и быте людей рядовых профессий («Песнь пастуха Бабая», «Ковни», «Лесорубы», «Суртай на охоте», «Новоселье» и другие).

Илья Мухачев живописует словом удивительно рельефно. Суровые, по-своему прекрасные и неповторимые черты природы Горного Алтая, героика борьбы и труда жителей этих мест — все это схвачено поэтом так ярко и метко, что его стихи кажутся чудесным полотном, вышитым колоритными алтайскими самоцветами.

В них, в этих самоцветах, — и драматические эпизоды борьбы за счастье трудящихся в годы гражданской войны («Сайгалата», «Знакомые места», «Демжай-алтаец»), и грозные отблески времени Великой Отечественной войны («Письма и другу»), и мирные будни («Кулуздинская зима», «Серебряная вода», «Завод в горах»), и воспоминания лирического героя о детстве («Каторжанин»).

Лирическому герою стихов Ильи Мухачева органически свойственно проникновенное чувство любви к родной природе, к человеку-созидателю. В стихотворении, открывающем сборник, поэт с предельным лаконизмом изложил основу своего поэтического кредо:

Любить, мой друг! Любить всегда
Родную землю, горы эти,
Где синева, деревья, ветер,
Где по долинам города
Нам строить лучшие на свете.

Как будто мглою мир обвит
Ты ничего в нем не находишь,
Когда на сердце нет любви
Ни к человеку, ни к природе.

Любить величье этих дней
И в каждом деле быть сердечным...
С любовью чувствуешь сильней
Печаль и радость человечью.

Трудно назвать такое стихотворение в сборнике, которое не имело бы пейзажных зарисовок и деталей. И все они живут своей жизнью, сверкают своими красками. Излюбленный прием автора в изображении природы — олицетворение. Мы видим и «спящий коздреватый» камень, и «наступившиеся» облака, «с развесистыми белыми усами», и «пугливо смотрящие снями глазами» фиалки, слышим и бурю, напоминающий «грызлю зверей»...

Но не только своеобразная красота причудливых горных хребтов и обвалов, не только затейливые буруны стремительных рек и медонные запахи трав и цветов Горного Алтая исторгли из чуткого, трепетного сердца поэта проникновенные слова.

Творчеству Ильи Мухачева, прежде всего, близок и дорог тот, кто преобразует и одевает землю в новый наряд, меняет лицо сел, заставляет недра гор служить человеку. Не Горный Алтай вообще, а советский Горный Алтай, социалистическая Родина были тем извечным родником, который питал поэзию Ильи Мухачева, вливал в нее страстность и самобытность. Это Советская власть дала возможность развернуться народному таланту, вызвала простого рабочего парня в ряды художников слова, которых любит и ценит народ.

ЧИТАТЕЛИ ОБ АЛЬМАНАХЕ «АЛТАЙ»

В краевой библиотеке состоялась читательская конференция, на которой обсуждался альманах «Алтай» № 13. Вот какую оценку дали читатели разных профессий и возрастов в целом альманаху и отдельным произведениям, включенным в него.

И. Андупов, студент. Мне понравился дневник В. Головинского. Он оставляет хорошее впечатление.

Понравилась также статья В. Серебряного о нашем писателе Николае Чебаевском.

Некоторые произведения, включенные в альманах, мало интересны, мало убедительны. К таким материалам относятся статьи Н. Иванова «Хлеб Алтая», И. Крамаренко «Ревкомы и их роль в восстановлении Советской власти на Алтае». Написаны они сухо, читаются с трудом.

В альманахе нужно давать больше рисунков, фотографий, больше печатать материалов из жизни студентов.

Очень жаль, что редколлегия альманаха, публикуя рисунки Г. Гуркина, ничего не рассказала о жизни замечательного алтайского художника.

Н. Пикельная, учительница. Дневник В. Головинского, напечатанный в альманахе, имеет большую воспитательную ценность. В. Головинский — человек талантливый, целеустремленный. Его многие высказывания очень полезны для нашей молодежи. Очень жаль, что В. Головинский безвременно умер.

Рассказ И. Рубина «Приблудыш» вызывает много претензий. Непонятно, почему герой оказался беспризорным. Окружающие его люди показаны почему-то жестокими, непонимающими, насмехающимися. Как мальчик очутился в таком жалком положении?

Мне понравился рассказ И. Кудинова «Невостный день». Автор показывает чистоту отношений между нашими людьми. Главное в наших людях — это стремление как можно больше сделать для общего дела. Это убедительно раскрыл автор в образе скромного парикмахера.

В. Смирнов, журналист. Я знал В. Головинского. В его дневнике отражена его чистая, светлая душа. В дневнике он дает меткие характеристики людям, с которыми встречается.

Теплым чувством отличаются стихи Л. Шкандро «Моя земля», «Другу». Этого, к сожалению, не скажешь о некоторых стихах

В. Каурова, хотя у него блестящая поэтическая техника: в них нет авторского отношения к жизни, нет больших, волнующих чувств.

Очень хорошо, что расширен раздел критики. Мне понравилась статья И. Казанцева «Путь к мастерству» и В. Серебряного «Николай Чебаевский», в которых авторы пишут о работе алтайских писателей.

Н. Стрельников, пенсионер. Тринадцатая книга альманаха произвела на меня хорошее впечатление. Она дает богатую пищу для размышления о жизни, о борьбе за коммунизм.

Я не согласен с тов. Пикельной, которая критикует рассказ И. Рубина «Приблудыш». Мне рассказ понравился.

И. Четыркин, пенсионер. Я недавно живу в Барнауле и прежних книг альманаха не читал. Но об «Алтае» № 13 хочется сказать, что в нем есть стилистические промахи. Например, в рассказе И. Кудина «Иенастный день» встречаются тяжеловесные фразы. В рассказе В. Омельченко «Пионеры земного солнца» иногда замечаешь языковую безвкусицу.

Хочется отметить, что редколлегия альманаха нетребовательно подошла к подготовке дневника В. Головинского. Она сочла возможным опубликовать его некоторые неправильные утверждения. К ним относятся, например, рассуждения о причинах героического порыва советского человека (стр. 7).

И. Грицевский, учитель. Я с интересом прочитал дневник В. Головинского. В нем отражена судьба молодого человека. Жаль, что в некоторых случаях В. Головинский пишет скупое, кратко, что больше уделяет внимания описанию природы, чем показу людей, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Я не согласен с теми, кто критикует редколлегию альманаха за то, что включены спорные высказывания В. Головинского. Дневник В. Головинского — не классный час, не воспитательный урок. Редколлегия альманаха права, что решила показать В. Головинского шире, глубже, в процессе становления, не скрывая и того отрицательного, что было у молодого человека.

Хочется выступить в защиту рассказа И. Рубина «Приблудыш», который был назван нереалистичным. По-моему, этот рассказ реалистичен, все в нем ясно, понятно.

В альманахе нужно больше печатать интересных свежих материалов, таких, как дневник В. Головинского. Следует публиковать материалы не только местных авторов, но и тех, которые живут за пределами Алтая и пишут о нашем крае. И хочется пожелать нашим писателям, чтобы писали они смело, без оглядки, когда затрагивают те или иные недостатки в нашей жизни.

А. Беспалова, пенсионер. В дневнике В. Головинского язык неровен, часто употребляется слово «маленько» и ему подобные. Встречается и такое словосочетание «рожа шахтера». По-моему, так писать о наших шахтерах недопустимо.

Н. Карпов, пенсионер. Из стихов Г. Каурова, опубликованных в альманахе, мне особенно понравилось стихотворение «Зеленый океан».

Однако мне хочется сказать и о недостатках стихов В. Каурова. Главный недостаток их — это штампы. В. Кауров пишет, например: «близкий до боли», «парнишка синюшкый». Встречаются в стихах также неудачные рифмы, непонятные выражения.

А. Огнев, кандидат филологических наук. Жаль, что на читательской конференции присутствуют не все члены редколлегии, почти нет авторов, чьи произведения опубликованы в тринад-

цатой книге альманаха. А ведь авторам важно послушать критические замечания читателей.

Лучшее впечатление из прочитанных материалов у меня оставил дневник В. Головинского. О нем много спорили. Но категорически судить о В. Головинском нельзя, потому что он находился в процессе становления, роста. Я не согласен с теми, кто говорил, что нужно было опубликовать только правильные мысли В. Головинского. Если бы так относилась редколлегия к его дневнику, это было бы неверно.

Рассказы, включенные в альманах, не произвели на меня большого впечатления.

Я думаю, что тов. Пикельная права, заявляя, что рассказ И. Рубина «Приблудыш» нереалистичен, герой — нетипичен. По-моему, недостаток его в том, что он выглядит незаконченным.

В рассказе В. Омельченко «Пионеры земного солнца» встречаются канцелярские фразы. После опубликования первой книжки рассказов «Свои люди» движения вперед у В. Омельченко незаметно.

Хочется отметить недостатки в стихах Б. Каурова. У него встречаются недоработанные рифмы, языковые штампы, например: «глаза, как искорки, горят». В этом проявляется недостаточная требовательность Б. Каурова к своему творчеству.

Статья Н. Иванова «Хлеб Алтая» напоминает статистическую справку. Она скучна. Такое же впечатление оставляет и статья И. Крамаренко «Ревкомы и их роль в восстановлении Советской власти на Алтае».

В разделе критики мне понравилась статья В. Серебряного «Николай Чебаевский». Написана она интересно, но автор перехваливает Н. Чебаевского. Это не нужно ни писателю, ни читателю.

В целом производит хорошее впечатление статья И. Казанцева «Путь к мастерству», хотя она могла бы быть написана более динамично.

И. Рабинович, начинающий автор. Меня огорчило, что некоторые товарищи сказали, что герой моего рассказа «Приблудыш» нетипичен. Я все-таки с этим не согласен.

Я убедился, что наш читатель исключительно внимателен и доброжелателен к местным авторам.

Хотелось бы высказать свое мнение о В. Омельченко. Его рассказ «Пионеры земного солнца» я считаю удачным. Я думаю, что вообще рассказы В. Омельченко недооцениваются. По-моему, В. Омельченко умеет работать над словом.

Читательская конференция по тринадцатой книге альманаха «Алтай» показала большой интерес читателей к творчеству наших литераторов. Они горячо, доброжелательно говорили о их произведениях, высказывали критические замечания с тем, чтобы помочь авторам в совершенствовании своего мастерства, чтобы сделать альманах «Алтай» еще более интересным, содержательным.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

С. Зялыгин. Подруги. Главы из романа	3
Леонид Мерзлякин. Ты один у меня, мой земной уголок. Стихи	67
Геннадий Володин. Колосок. Стихи	69
Дм. Гоосен. Картина. Стихи	70
Н. Кожевников. 25 дней на цепи. Очерк	71

СТИХИ ПОЭТОВ-РАБОЧИХ

Михаил Некрасов. Утром. Александр Марков. Морошка. Евгений Боев. Цветы. Федор Шопин. Пол- ный вперед. Веснушки	96
--	----

ЛЮДИ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИИ

Г. Колпаков. У операционного стола. Заметки хирурга	100
---	-----

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО КРАЯ

М. Бельков. Поход отряда П. Ф. Сухова	116
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Антропянский. Образ В. И. Ленина в творчестве поэтов народов Сибири	125
И. Кавалцев. О критике с помощью «лакмусовой бумажки»	132

КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ

А. Ореховский. Алтайские самоцветы	141
Читатели об альманахе «Алтай»	144

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. Юдалевич (редактор), **А. Бутаков,**
Н. Дворцов, И. Казанцев, И. Масаулов,
Н. Павлов, А. Тресков, В. Царев,
В. Чиликин.

Технический редактор **Г. Жданова**

Корректоры

Ф. Стефанская, М. Штремлева.

Сдано в набор 23.VIII, 1960 г. Подписа-

но к печати 15.XI.60 г.

Формат 60×92 1/16—9,25—9,25 усл.

и. л. (10,5 уч.-изд. л.+1 вкл.). Тираж

5000 экз. Заказ 4767. АГ 03893

Цена — 1 руб., с л. л. 61 г. 40 к.

Алтайское книжное издательство,

Барнаул, М. Горького, 39.

Типография изд-ва «Алтайская правда»,

Барнаул, Короленко, 105.

4 руб.

С 1.1. 1961 г. — 10 коп.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1980